

Далеко, далеко на озере Чад... Николай Степанович Гумилев

Темно-зеленая, чуть тронутая позолотой книжка, скорей даже тетрадка Н. Гумилева прочитывается быстро. Вы выпиваете ее, как глоток зеленого шартреза.

Зеленая книжка оставила во мне сразу же впечатление чего-то пряного, сладкого, пожалуй, даже экзотического, но вместе с тем и такого, что жаль было бы долго и пристально смаковать и разглядывать на свет: дал скользнуть по желобку языка – и как-то невольно тянешься повторить этот сладкий зеленый глоток.

Иннокентий Анненский.

«О романтических цветах»

Мы с Гумилевым в один год родились, в один год начали печататься, но не встречались долго...

<...> В Гумилеве было много хорошего. Он обладал отличным литературным вкусом, несколько поверхностным, но в известном смысле непогрешимым. К стихам подходил формально, но в этой области был и зорок, и тонок. В механику стиха он проникал, как мало кто. Думаю, что он это делал глубже и зорче, нежели даже Брюсов. Поэзию он обожал, в суждениях старался быть беспристрастным.

За всем тем его разговор, как и его стихи, редко был для меня «питателен». Он был удивительно молод душой, а может быть, и умом. Он всегда мне казался ребенком. Было что-то ребяческое в его под машинку стриженной голове, в его выправке, скорее гимназической, чем военной. То же ребячество прорывалось в его увлечении Африкой, войной, наконец – в напускной важности, которая так меня удивила при первой встрече и которая вдруг сползала, куда-то улетучивалась, пока он не спохватывался и не натягивал ее на себя сызнова. Изображать взрослого ему нравилось, как всем детям. Он любил играть в «мэтра», в литературное начальство своих «гумилят», то есть маленьких поэтов и поэтесс, его окружавших. Поэтическая детвора его очень любила. Иногда, после лекций о поэтике, он играл с нею в жмурки – в самом буквальном, а не в переносном смысле слова. Я раза два это видел. Гумилев был тогда похож на славного пятиклассника, который разыгрался с приготовишками.

Владислав Ходасевич

Сады моей души

Восьмистишье («Ни шороха полночных далее»)

Ни шороха полночных далей,

Ни песен, что певала мать,

Мы никогда не понимали

Того, что стоило понять.

И, символ горнего величья,

Как некий благостный завет,

Высокое косноязычье

Тебе даруется, поэт

«Я конквистадор в панцире железном...»

Я конквистадор в панцире железном,

Я весело преследую звезду,

Я прохожу по пропастям и безднам

И отдыхаю в радостном саду.

Как смутно в небе диком и беззвездном!

Растет туман... но я молчу и жду

И верю, я любовь свою найду...

Я конквистадор в панцире железном.

И если нет полдневных слов звездам,

Тогда я сам мечту свою создам

И песней битв любовно зачарую.

Я пропасть и бурям вечный брат,

Но я вплету в воинственный наряд

Звезду долин, лилею голубую.

Credo

Откуда я пришел, не знаю...

Не знаю я, куда уйду,

Когда победно отблистаю

В моем сверкающем саду.

Когда исполнюсь красотой,

Когда наскучу лаской роз,

Когда запросится к покою

Душа, усталая от грез.

Но я живу, как пляска теней

В предсмертный час больного дня,

Я полон тайною мгновений

И красной чарою огня.

Мне все открыто в этом мире —

И ночи тень, и солнца свет,

И в торжествующем эфире

Мерцанье ласковых планет.

Я не ищу больного знанья,

Зачем, откуда я иду;

Я знаю, было там сверканье

Звезды, лобзающей звезду.

Я знаю, там звенело пенье

Перед престолом красоты,

Когда сплетались, как виденья,

Святые белые цветы.

И, жарким сердцем веря чуду,

Поняв воздушный небосклон,

В каких пределах я ни буду,

На все наброшу я свой сон.

Всегда живой, всегда могучий,

Влюбленный в чары красоты.

И вспыхнет радуга созвучий

Над царством вечной пустоты.

Баллада

Пять коней подарил мне мой друг

Люцифер И одно золотое с рубином кольцо,

Чтобы мог я спускаться в глубины пещер

И увидел небес молодое лицо.

Кони фыркали, били копытом, маня

Понестись на широком пространстве земном,

И я верил, что солнце зажглось для меня,

Просияв, как рубин на кольце золотом.

Много звездных ночей, много огненных дней

Я скитался, не зная скитанью конца,

Я смеялся порывам могучих коней

И игре моего золотого кольца.

Там, на высях сознания, – безумье и снег,

Но коней я ударил свистящим бичом.

Я на выси сознания направил их бег

И увидел там деву с печальным лицом.

В тихом голосе слышались звоны струны,

В странном взоре сливался с ответом вопрос,

И я отдал кольцо этой деве луны

За неверный оттенок разбросанных кос.

И, смеясь надо мной, презирая меня,

Люцифер распахнул мне ворота во тьму,

Люцифер подарил мне шестого коня —

И Отчаянье было названье ему.

Думы

Зачем они ко мне собрались, думы,

Как воры ночью в тихий мрак предместий?

Как коршуны, зловещи и угрюмы,

Зачем жестокой требовали мести?

Ушла надежда, и мечты бежали,

Глаза мои открылись от волненья,

И я читал на призрачной скрижали

Свои слова, дела и помышленья.

За то, что я спокойными очами

Смотрел на уплывающих к победам,

За то, что я горячими губами

Касался губ, которым грех неведом,

За то, что эти руки, эти пальцы

Не знали плуга, были слишком тонки,

За то, что песни, вечные скитальцы,

Томили только, горестны и звонки, —

За все теперь настало время мести.

Обманный, нежный храм слепцы разрушат,

И думы, воры в тишине предместий,

Как нищего во тьме, меня задушат.

Крест

Так долго лгала мне за картою карта,

Что я уж не мог опьяниться вином.

Холодные звезды тревожного марта

Бледнели одна за другой за окном.

В холодном безумье, в тревожном азарте

Я чувствовал, будто игра эта — сон.

«Весь банк, — закричал, — покрываю я в карте!»

И карта убита, и я побежден.

Я вышел на воздух.

Рассветные тени

Бродили так нежно по нежным снегам.

Не помню я сам, как я пал на колени,

Мой крест золотой прижимая к губам.

«Стать вольным и чистым, как звездное небо,

Твой посох принять, о Сестра Ниццета,

Бродить по дорогам, выпрашивать хлеба,

Людей заклиная святыней креста!»

Мгновенье... и в зале веселой и шумной

Все стихли и встали испуганно с мест,

Когда я вошел, воспаленный, безумный,

И молча на карту поставил мой крест.

Маскарад

В глухих коридорах и в залах пустынных

Сегодня собрались веселые маски,

Сегодня в увитых цветами гостиных

Прошли ураганом безумные пляски.

Бродили с драконами под руку луны,

Китайские вазы метались меж ними,

Был факел горящий и лютня, где струны

Твердили одно непонятное имя.

Мазурки стремительный зов раздавался,

И я танцевал с куртизанкой Содома,

О чем-то грустил я, чему-то смеялся,

И что-то казалось мне странно знакомо.

Молил я подругу: «Сними эту маску,

Ужели во мне не узнала ты брата?

Ты так мне напомнила древнюю сказку,

Которую раз я услышал когда-то.

Для всех ты останешься вечно чужою

И лишь для меня бесконечно знакома,

И верь, от людей и от масок я скрою,

Что знаю тебя я, царица Содома».

Под маской мне слышался смех ее юный,

Но взоры ее не встречались с моими,

Бродили с драконами под руку луны,

Китайские вазы метались меж ними.

Как вдруг под окном, где угрозой пустою

Темнело лицо проплывающей ночи,

Она от меня ускользнула змеею,

И сдернула маску, и глянула в очи.

Я вспомнил, я вспомнил такие же песни,

Такую же дикую дрожь сладострастья

И ласковый, вкрадчивый шепот: «Воскресни,

Воскресни для жизни, для боли и счастья!»

Я многое понял в тот миг сокровенный,

Но страшную клятву мою не нарушу.

Царица, царица, ты видишь, я пленный,

Возьми мое тело, возьми мою душу

Выбор

Созидающий башню сорвется,

Будет страшен стремительный лет,

И на дне мирового колодца

Он безумье свое проклянет.

Разрушающий будет раздавлен,

Опрокинут обломками плит,

И, Всевидящим Богом оставлен,

Он о муке своей возопит.

А ушедший в ночные пещеры

Или к заводям тихой реки

Повстречает свирепой пантеры

Наводящие ужас зрачки.

Не спасешься от доли кровавой,

Что земным предназначила твердь.

Но молчи: несравненное право

Самому выбирать свою смерть.

Мечты

За покинутым бедным жилищем,

Где чернеют остатки забора,

Старый ворон с оборванным нищим

О восторгах вели разговоры.

Старый ворон в тревоге всегдашней

Говорил, трепеща от волненья,

Что ему на развалинах башни

Небывалые снились виденья.

Что в полете воздушном и смелом

Он не помнил тоски их жилища

И был лебедем, нежным и белым,

Принцем был отвратительный нищий.

Нищий плакал бессильно и глухо.

Ночь тяжелая с неба спустилась.

Проходившая мимо старуха

Учащенно и робко крестилась.

Вечер

Еще один ненужный день,

Великолепный и ненужный!

Приди, ласкающая тень,

И душу смутную одень

Своею ризою жемчужной.

И ты пришла... ты гонишь прочь

Зловещих птиц – мои печали.

О повелительница ночь,

Никто не в силах превозмочь

Победный шаг твоих сандалий!

От звезд слетает тишина,

Блестит луна твое запястье,

И мне во сне опять дана

Обетованная страна

Давно оплаканное счастье.

Ужас

Я долго шел по коридорам,

Кругом, как враг, таилась тишь.

На пришельца враждебным взором

Смотрели статуи из ниш.

В угрюмом сне застыли вещи,

Был странен серый полумрак,

И, точно маятник зловещий,

Звучал мой одинокий шаг.

И там, где глубже сумрак хмурый,

Мой взор горящий был смущен

Едва заметною фигурой

В тени столпившихся колонн.

Я подошел, и вот мгновенный,

Как зверь, в меня вцепился страх:

Я встретил голову гиены

На стройных девичьих плечах.

На острой морде кровь налипла,

Глаза зияли пустотой,

И мерзко крался шепот хриплый:

«Ты сам пришел сюда, ты мой!»

Мгновенья страшные бежали,

И наплывала полумгла,

И бледный ужас повторяли

Бесчисленные зеркала.

Корабль

«Что ты видишь во взоре моем,

В этом бледно-мерцающем взоре?»

«Я в нем вижу глубокое море

С потонувшим большим кораблем.

Тот корабль... величавей, смелее

Не видали над бездной морской.

Колыхались высокие реи,

Трепетала вода за кормой.

И летучие странные рыбы

Покидали подводный предел

И бросали на воздух изгибы

Изумрудно блистающих тел.

Ты стояла на дальнем утесе,

Ты смотрела, звала и ждала,

Ты в последнем веселом матросе

Огневое стремленье зажгла.

И никто никогда не узнает

О безумной, предсмертной борьбе

И о том, где теперь отдыхает

Тот корабль, что стремился к тебе.

И зачем эти тонкие руки

Жемчугами прорезали тьму,

Точно ласточки с песней разлуки,

Точно сны, улетая к нему.

Только тот, кто с тобою, царица,

Только тот вспоминает о нем,

И его голубая гробница

В затуманенном взоре твоём».

За гробом

Под землей есть тайная пещера,

Там стоят высокие гробницы,

Огненные грезы Люцифера, —

Там блуждают стройные блудницы.

Ты умрешь бесславно иль со славой,

Но придет и властно глянет в очи

Смерть, старик угрюмый и костлявый,

Нудный и медлительный рабочий.

Понесет тебя по коридорам,



Понесет от башни и до башни.

Со стеклянным выпученным взором

Ты поймешь, что это сон всегдашний.

И когда, упав в твою гробницу,

Ты загрезишь о небесном храме,

Ты увидишь пред собой блудницу

С острыми жемчужными зубами.

Сладко будет ей к тебе прикинуться,

Целовать со злобой бесконечной.

Ты не сможешь двинуться и крикнуть...

Это все. И это будет вечно.

Сады души

Сады моей души всегда узорны,

В них ветры так свежи и тиховейны,

В них золотой песок и мрамор черный,

Глубокие, прозрачные бассейны.

Растенья в них, как сны, необычайны,

Как воды утром, розовеют птицы,

И – кто поймет намек старинной тайны? —

В них девушка в венке великой жрицы.

Глаза, как отблеск чистой серой стали,

Изящный лоб, белей восточных лилий,

Уста, что никого не целовали

И никогда ни с кем не говорили.

И щеки – розоватый жемчуг юга,

Сокровище немислимых фантазий,

И руки, что ласкали лишь друг друга,

Переплетясь в молитвенном экстазе.

У ног ее – две черные пантеры

С отливом металлическим на шкуре.

Взлетев от роз таинственной пещеры,

Ее фламинго плавает в лазури.

Я не смотрю на мир бегущих линий,

Мои мечты лишь вечному покорны.

Пускай сирокко бесится в пустыне,

Сады моей души всегда узорны.

Орел Синдбада

Следом за Синдбадом-Мореходом

В чуждых странах я собирал червонцы  
И блуждал по незнакомым водам,  
Где, дробясь, пылали блики солнца.  
Сколько раз я думал о Синдбаде  
И в душе лелеял мысли те же...  
Было сладко грезить о Багдаде,  
Проходя у чуждых побережий.  
Но орел, чьи перья – красный пламень,  
Что носил богатого Синдбада,  
Поднял и швырнул меня на камень,  
Где морская веяла прохлада.  
Пусть халат мой залит свежей кровью, —  
В сердце гибель загорелась снами.  
Я – как мальчик, схваченный любовью  
К девушке, окутанной шелками.  
Тишина над дальним кругозором,  
В мыслях праздник светлого бессилья,  
И орел, моим смущенный взором,  
Отлетая, распускает крылья.  
Ягуар  
Странный сон увидел я сегодня:  
Снилось мне, что я сверкал на небе,  
Но что жизнь, чудовищная сводня,  
Выкинула мне недобрый жребий.  
Превращен внезапно в ягуара,  
Я сгорал от бешеных желаний,  
В сердце – пламя грозного пожара,  
В мускулах – безумье содроганий.  
И к людскому крался я жилищу  
По пустому сумрачному полю  
Добывать полуночную пищу,  
Богом мне назначенную долю.  
Но нежданно в темном перелеске  
Я увидел нежный образ девы  
И запомнил яркие подвески,  
Поступь лани, взоры королевы.  
«Призрак Счастья, Белая Невеста...» —

Думал я, дрожащий и смущенный,

А она промолвила: «Ни с места!» —

И смотрела тихо и влюбленно.

Я молчал, ее покорный кличу,

Я лежал, ее окован знаком,

И достался, как шакал, в добычу

Набежавшим яростным собакам.

А она прошла за перелеском

Тихими и легкими шагами,

Лунный луч кружился по подвескам,

Звезды говорили с жемчугами.

Поединок

В твоём гербе – невинность лилий,

В моем – багряные цветы.

И близок бой, рога завывли,

Сверкнули золотом щиты.

Я вызван был на поединок

Под звуки бубнов и литавр,

Среди смеющихся тропинок,

Как тигр в саду, – угрюмый мавр.

Ты – дева-воин песен давних,

Тобой гордятся короли,

Твое копье не знает равных

В пределах моря и земли.

Вот мы схватились и застыли,

И войско с трепетом глядит,

Кто побеждает: я ли, ты ли,

Иль гибкость стали, иль гранит.

Я пал, и, молнии победней,

Сверкнул и в тело впился нож.

Тебе восторг – мой стон последний,

Моя прерывистая дрожь.

И ты уходишь в славе ратной,

Толпа поет тебе хвалы,

Но ты вернись обратно,

Одна, в плаще весенней мглы.

И, над равниной дымно-белой

Мерцая шлемом золотым,

Найдешь мой труп окоченелый

И снова склонись над ним:

«Люблю! Ты слышишь, милый, милый?»

Открой глаза, ответь мне: «Да».

За то, что я тебя убила,

Твоей я стану навсегда».

Еще не умер звук рыданий,

Еще шуршит твой белый шелк,

А уж ко мне ползет в тумане

Нетерпеливо-жадный волк.

Царица

Твой лоб в кудрях отлива бронзы,

Как сталь, глаза твои остры,

Тебе задумчивые бонзы

В Тибете ставили костры.

Когда Тимур в унылой злобе

Народы бросил к их мете,

Тебя несли в пустынях Гоби

На боевом его щите.

И ты вступила в крепость Агры,

Светла, как древняя Лилит,

Твои веселые онагры

Звенели золотом копыт.

Был вечер тих. Земля молчала,

Едва вздыхали цветники,

Да от зеленого канала,

Взлетая, реяли жуки.

И я следил в тени колонны

Черты алмазного лица

И ждал, коленопреклоненный,

В одежде розовой жреца.

Узорный лук в дугу был согнут,

И, вольность древнюю любя,

Я знал, что мускулы не дрогнут

И острие найдет тебя.

Тогда бы вспыхнуло былое:

Князей торжественный приход,

И пляски в зарослях алоэ,  
И дни веселые охот.  
Но рот твой, вырезанный строго,  
Таил такую смену мук,  
Что я в тебе увидел бога  
И робко выронил свой лук.  
Толпа рабов ко мне метнулась,  
Теснясь, волнуясь и крича,  
И ты лениво улынулась  
Стальной секире палача.  
В пути  
Кончено время игры,  
Дважды цветам не цвести.  
Тень от гигантской горы  
Пала на нашем пути.  
Область унынья и слез —  
Скалы с обеих сторон  
И оголенный утес,  
Где распростерся дракон.  
Острый хребет его крут,  
Вздых его — огненный смерч.  
Люди его назовут  
Сумрачным именем: «Смерть».  
Что ж, обратиться нам вспять,  
Вспять повернуть корабли,  
Чтобы опять испытать  
Древнюю скудость земли?  
Нет, ни за что, ни за что!  
Значит, настала пора.  
Лучше слепое Ничто,  
Чем золотое Вчера!  
Вынем же меч-кладенец,  
Дар благосклонных няяд,  
Чтоб обрести наконец  
Неотцветающий сад.  
Старый конквистадор  
Углубясь в неведомые горы,  
Заблудился старый конквистадор.

В дымном небе плавали кондоры,

Нависали снежные громады.

Восемь дней скитался он без пищи,

Конь издох, но под большим уступом

Он нашел уютное жилище,

Чтоб не разлучаться с милым трупом.

Там он жил в тени сухих смоковниц,

Песни пел о солнечной Кастилье,

Вспоминал сраженья и любовниц,

Видел то пищали, то мантильи.

Как всегда, был дерзок и спокоен

И не знал ни ужаса, ни злости,

Смерть пришла, и предложил ей воин

Поиграть в изломанные кости.

Христос

Он идет путем жемчужным

По садам береговым.

Люди заняты ненужным,

Люди заняты земным.

«Здравствуй, пастырь!

Рыбарь, здравствуй!

Вас зову я навсегда,

Чтоб блюсти иную паству

И иные невода.

Лучше ль рыбы или овцы

Человеческой души?

Вы, небесные торговцы,

Не считайте барыши.

Ведь не домик в Галилее

Вам награда за труды, —

Светлый рай, что розовее

Самой розовой звезды.

Солнце близится к притину,

Слышно веянье конца,

Но отрадно будет Сыну

В Доме Нежного Отца».

Не томит, не мучит выбор,

Что пленительней чудес?!

И идут пастух и рыбарь

За искателем небес.

«Рощи пальм и заросли алоэ...»

Рощи пальм и заросли алоэ,

Серебристо-матовый ручей,

Небо бесконечно голубое,

Небо, золотое от лучей.

И чего еще ты хочешь, сердце?

Разве счастье сказка или ложь?

Для чего ж соблазнам иноверца

Ты себя покорно отдаешь?

Разве снова хочешь ты отравы,

Хочешь биться в огненном бреду,

Разве ты не властно жить, как травы

В этом упоительном саду?

Я вежлив с жизнью современной,

Но между нами есть преграда,

Все, что смешит ее, надменную, —

Моя единая отрада.

Победа, слава, подвиг – бледные

Слова, затерянные ныне,

Гремят в душе, как громы медные,

Как голос Господа в пустыне.

Всегда ненужно и непрошено

В мой дом спокойствие входило;

Я клялся быть стрелою, брошенной

Рукой Немврода иль Ахилла.

Но нет, я не герой трагический,

Я ироничнее и суше.

Я злюсь, как идол металлический

Среди фарфоровых игрушек.

Он помнит головы курчавые,

Склоненные к его подножью,

Жрецов молитвы величавые,

Грозу в лесах, объятых дрожью.

И видит, горестно-смеющийся,

Всегда недвижные качели,

Где даме с грудью выдающейся

Пастух играет на свирели.



# 1913

Сонет («Я, верно, болен: на сердце туман...»)

Я, верно, болен: на се?рдце туман,

Мне скучно все, и люди, и рассказы,

Мне снятся королевские алмазы

И весь в крови широкий ятаган.

Мне чудится (и это не обман):

Мой предок был татарин косоглазый,

Свирепый гунн... я веяньем заразы,

Через века дошедшей, обуян.

Молчу, томлюсь, и отступают стены —

Вот океан, весь в ключьях белой пены,

Закатным солнцем залитый гранит

И город с голубыми куполами,

С цветущими жасминными садами,

Мы дрались там... Ах да! я был убит.

Деревья

Я знаю, что деревьям, а не нам,

Дано величье совершенной жизни.

На ласковой земле, сестре звездам,

Мы – на чужбине, а они – в отчизне.

Глубокой осенью в полях пустых

Закаты медно-красные, восходы

Янтарные окраске учат их —

Свободные зеленые народы.

Есть Моисеи посреди дубов,

Марии междупальм... Их души, верно,

Друг другу посылают тихий зов

С водой, струящейся во тьме безмерной.

И в глубине земли, точа алмаз,

Дробя гранит, ключи лепечут скоро,

Ключи поют, кричат – где сломан вяз,

Где листьями оделась сикомора.

О, если бы и мне найти страну,

В которой мог не плакать и не петь я,

Безмолвно поднимаясь в вышину

Неисчислимыя тысячелетья!

Я и Вы

Да, я знаю, я Вам не пара,  
Я пришел из иной страны,  
И мне нравится не гитара,  
А дикарский напев зурны.  
Не по залам и по салонам  
Темным платьям и пиджакам —  
Я читаю стихи драконам,  
Водопадам и облакам.  
Я люблю – как араб в пустыне  
Припадает к воде и пьет,  
А не рыцарем на картине,  
Что на звезды смотрит и ждет.  
И умру я не на постели  
При нотариусе и враче,  
А в какой-нибудь дикой щели,  
Утонувшей в густом плюще,  
Чтоб войти не во всем открытый  
Протестантский прибранный рай,  
А туда, где разбойник, мытарь  
И блудница крикнут: вставай!  
Одиночество  
Я спал, и смыла пена белая  
Меня с родного корабля,  
И в черных водах, помертвелая,  
Открылась мне моя земля.  
Она полна конями быстрыми  
И красным золотом пещер,  
Но ночью вспыхивают искрами  
Глаза блуждающих пантер.  
Там травы славятся узорами  
И реки словно зеркала,  
Но рощи полны мандрагорами,  
Цветами ужаса и зла.  
На синевато-белом мраморе  
Я высоко воздвиг маяк,  
Чтоб пробегающие на море  
Далеко видели мой стяг.

Я предлагал им перья страуса,  
Плоды, коралловую нить,  
Но ни один стремленья паруса  
Не захотел остановить.  
Все чтити древнего оракула  
И приговор его суда  
О том, чтоб вечно сердце плакало  
У всех заброшенных сюда.  
И надо мною одиночество  
Возносит огненную плеть  
За то, что древнее пророчество  
Мне суждено преодолеть.  
После смерти  
Я уйду, побегу от тоски,  
Я назад ни за что не взгляну,  
Но, сжимая руками виски,  
Я лицом упаду в тишину.  
И пойду в голубые сады  
Между ласковых серых равнин,  
Чтобы рвать золотые плоды,  
Потаенные сказки глубин.  
Гибких трав вечеряющий шелк  
И второе мое бытие...  
Да, сюда не прокрадется волк,  
Там вцепившийся в горло мое.  
Я пойду и присяду, устав,  
Под уютный задумчивый куст,  
И не двинется призрачность трав,  
Горизонт будет нежен и пуст.  
Пронесутся века, не года,  
Но и здесь я печаль сохраню.  
Так я буду бояться всегда  
Возвращенья к распутному дню.

# 1908

«Мое прекрасное убежище...»

Мое прекрасное убежище —

Мир звуков, линий и цветов,

Куда не входит ветер режущий

Из недостроенных миров.

Цветок сорву ли – буйным пением

Наполнил душу он, дразня,

Чаруя светлым откровением,

Что жизнь кипит и вне меня.

Но так же дорог мне искусственный

Взлелеянный мечтою цвет:

Он мозг дурманит жаждой чувственной

Того, чего на свете нет.

Иду в пространстве и во времени,

И вслед за мной мой сын идет

Среди трудящегося племени

Ветров, и пламеней, и вод.

И я приму – и да, не дрогну я! —

Как поцелуй иль как цветок,

С таким же удивленьем огненным

Последний гибельный толчок.

<1913>

Позор

Вероятно, в жизни предыдущей

Я зарезал и отца и мать,

Если в этой – Боже Присносущий! —

Так жестоко осужден страдать.

Если б кликнул я мою собаку,

Посмотрел на моего коня,

Моему не повинясь знаку,

Звери бы умчались от меня.

Если б подошел я к пене моря,

Так давно знакомой и родной,

Море почернело бы от горя,

Быстро отступая предо мной.

Каждый день мой, как мертвец, спокойный,

Все дела чужие, не мои,

Лишь томленье вовсе недостойной,

Вовсе платонической любви.

Пусть приходит смертное томленье,

Мне оно не мешает ждать,

Что в моем грядущем воплощенье

Сделаюсь я воином опять.

<1917>

Рыцарь счастья

Как в этом мире дышится легко!

Скажите мне, кто жизнью недоволен,

Скажите, кто вздыхает глубоко,

Я каждого счастливым сделать волен.

Пусть он придет, я расскажу ему

Про девушку с зелеными глазами,

Про голубую утреннюю тьму,

Пронзенную лучами и стихами.

Пусть он придет! я должен рассказать,

Я должен рассказать опять и снова,

Как сладко жить, как сладко побеждать

Моря и девушек, врагов и слово.

А если все-таки он не поймет,

Мою прекрасную не примет веру

И будет жаловаться в свой черед

На мировую скорбь, на боль к барьеру!

<1917 или 1918?>

Возвращение

Анне Ахматовой

Я из дому вышел, когда все спали,

Мой спутник скрывался у рва в кустах,

Наверно, наутро меня искали,

Но было поздно, мы шли в полях.

Мой спутник был желтый, худой, раскосый,

О, как я безумно его любил,

Под пестрой хламидой он прятал косу,

Глазами гадюки смотрел и ныл.

О старом, о странном, о безбольном,

О вечном слагалось его нытье,

Звучало мне звоном колокольным,

Ввергало в истому, в забвенье.

Мы видели горы, лес и воды,

Мы спали в кибитках чужих равнин,

Порою казалось – идем мы годы,

Казалось порою – лишь день один.

Когда ж мы достигли стены Китая,

Мой спутник сказал мне: «Теперь прощай.

Нам разны дороги: твоя – святая,

А мне, мне сеять мой рис и чай».

На белом пригорке, над полем чайным,

У пагоды ветхой сидел Будда,

Пред ним я склонился в восторге тайном,

И было сладко, как никогда.

Так тихо, так тихо над миром дольным,

С глазами гадюки, он пел и пел

О старом, о странном, о безбольном,

О вечном, и воздух вокруг светлел.

Мой час

Еще не наступил рассвет,

Ни ночи нет, ни утра нет,

Ворона под моим окном

Спросонья шевелит крылом,

И в небе за звездой звезда

Истаивает навсегда.

Вот час, когда я все могу:

Проникнуть помыслом к врагу

Беспомощному и на грудь

Кошмаром гривистым вскакнуть.

Иль в спальню девушки войти,

Куда лишь ангел знал пути,

И в сонной памяти ее,

Лучом прорезав забвенье,

Запечатлеть свои черты,

Как символ высшей красоты.

Но тихо в мире, тихо так,

Что внятен осторожный шаг

Ночного зверя и полет

Совы – кочевницы высот.

А где-то пляшет океан,

Над ним белесый встал туман,

Как дым из трубки моряка,

Чей труп чуть виден из песка.

Передраассветный ветерок

Струится, весел и жесток,

Так странно весел, точно я,

Жесток совсем судьба моя.

Чужая жизнь на что она?

Свою я выпью ли до дна?

Поймуль всей волею моей

Единый из земных стеблей?

Вы, спящие вокруг меня,

Вы, не встречающие дня,

За то, что пощадил я вас

И одиноко сжег свой час,

Оставьте завтрашнюю тьму

Мне также встретить одному.

<1919>

Прапамять

И вот вся жизнь! Круженье, пенье,

Моря, пустыни, города,

Мелькающее отраженье

Потерянного навсегда.

Бушует пламя, трубят трубы,

И кони рыжие летят,

Потом волнующие губы

О счастье, кажется, твердят.

И вот опять восторг и горе,

Опять, как прежде, как всегда,

Седую гривой машет море,

Встают пустыни, города.

Когда же наконец, восставши

От сна, я буду снова я

Простой индеец, задремавший

В священный вечер у ручья?

«За стенами старого аббатства...»

За стенами старого аббатства —

Мне рассказывал его привратник —

Что ни ночь творятся святотатства:

Приезжает неизвестный всадник,

В черной мантии, большой и неуклюжий,

Он идет двором, сжимая губы,

Медленно ступая через лужи,

Пачкает в грязи свои раструбы.

Отодвинув тяжкие засовы,

На пороге суетятся духи,

Жабы и полуночные совы,

Колдуны и дикие старухи.

И всю ночь звучит зловещий хохот

В коридорах гулких и во храме,

Песни, танцы и тяжелый грохот

Сапогов, подкованных гвоздями.

Но наутро в диком шуме оргий

Слышны крики ужаса и злости.

То идет с мечом святой Георгий,

Что иссечен из слоновой кости.

Видя гневно сдвинутые брови,

Демоны спасаются в испуге,

И наутро видны капли крови

На его серебряной кольчуге.



1907

Ты явилась спящей звездой

Анна Ахматова. 1915 г.

Мне снилось

Мне снилось: мы умерли оба,

Лежим с успокоенным взглядом.

Два белые, белые гроба

Поставлены рядом.

Когда мы сказали: «Довольно»?

Давно ли, и что это значит?

Но странно, что сердцу не больно,

Что сердце не плачет.

Бессильные чувства так странны,

Застывшие мысли так ясны,

И губы твои не желанны,

Хоть вечно прекрасны.

Свершилось: мы умерли оба,

Лежим с успокоенным взглядом.

Два белые, белые гроба

Поставлены рядом.

«С тобой я буду до зари...»

С тобой я буду до зари,

Наутро я уйду

Искать, где спрятались цари,

Лобзавшие звезду.

У тех царей лазурный сон

Заткал лучистый взор;

Они – заснувший небосклон

Над мраморностью гор.

Сверкают в золоте лучей

Их мантий багрецы,

И на сединах их кудрей

Алмазные венцы.

И их мечи вокруг лежат

В камнях дорогих,

Их чутко гномы сторожат

И не уйдут от них.

Но я приду с мечом своим;

Владеет им не гном!

Я буду вихрем грозовым,

И громом, и огнем!

Я тайны выпытаю их,

Все тайны дивных снов,

И заключу в короткий стих,

В оправу звонких слов.

Промчится день, зажжет закат,

Природа будет храм,

И я приду, приду назад

К открытым дверям.

С тобою встретим мы зарю,

Наутро я уйду

И на прощанье подарю

Добытую звезду.

Свидание

Сегодня ты придешь ко мне,

Сегодня я пойму,

Зачем так странно при луне

Остаться одному.

Ты остановишься, бледна,

И тихо сбросишь плащ

Не так ли полная луна

Встает из темных чащ?

И, околдованный луной,

Окованный тобой,

Я буду счастлив тишиной,

И мраком, и судьбой.

Так зверь безрадостных лесов,

Почуявший весну,

Внимает шороху часов

И смотрит на луну,

И тихо крадется в овраг

Будить ночные сны,

И согласует легкий шаг

С движением луны.

Как он, и я хочу молчать,

Тоскуя и любя,

С тревогой древнею встречать

Мою луну, тебя.

Проходит миг, ты не со мной,

И снова день и мрак,

Но, обожженная луной,

Душа хранит твой знак.

Соединяющий тела

Их разлучает вновь,

Но, как луна, всегда светла

Полночная любовь.

«Ты помнишь дворец великанов...»

Ты помнишь дворец великанов,

В бассейне серебряных рыб,

Аллеи высоких платанов

И башни из каменных глыб?

Как конь золотистый у башен,

Играя, вставал на дыбы

И белый чепрак был украшен

Узорами тонкой резьбы?

Ты помнишь, у облачных впадин

С тобою нашли мы карниз,

Где звезды, как горсть виноградин,

Стремительно падали вниз?

Теперь, о, скажи, не бледнея,

Теперь мы с тобою не те,

Быть может, сильнее и смелее,

Но только чужие мечте.

У нас как точеные руки,

Красивы у нас имена,

Но мертвой, томительной скуке

Душа навсегда отдана.

И мы до сих пор не забыли,

Хоть нам и дано забывать,

То время, когда мы любили,

Когда мы умели летать.

Н. Гумилев. Париж. 1908 год. Фото М. А. Волошина

«Он поклялся в строгом храме...»

Он поклялся в строгом храме

Перед статуей Мадонны,

Что он будет верен даме,

Той, чьи взоры непреклонны.

И забыл о тайном браке,

Всюду ласки расточая,

Ночью был зарезан в драке

И пришел к преддверьям рая.

«Ты ль в Моем не клялся храме, —

Прозвучала речь Мадонны, —

Что ты будешь верен даме,

Той, чьи взоры непреклонны?

Отойди, не эти жатвы

Собирает Царь Небесный.

Кто нарушил слово клятвы,

Гибнет, Богу неизвестный».

Но, печальный и упрямый,

Он припал к ногам Мадонны:

«Я нигде не встретил дамы,

Той, чьи взоры непреклонны».

Кенгуру (Утро девушки)

Сон меня сегодня не разнежил,

Я проснулась рано поутру

И пошла, вдыхая воздух свежий,

Посмотреть ручного кенгуру.

Он срывал пучки смолистых игол,

Глупый, для чего-то их жевал

И смешно, смешно ко мне запрыгал

И еще смешнее закричал.

У него так неуклюжи ласки,

Но и я люблю ласкать его,

Чтоб его коричневые глазки

Мигом осветило торжество.

А потом, охвачена истомой,

Я мечтать уселась на скамью:

Что ж нейдет он, дальний, незнакомый,

Тот один, которого люблю!

Мысли так отчетливо ложатся,

Словно тени листьев поутру.

Я хочу к кому-нибудь ласкаться,

Как ко мне ласкался кенгуру.

Дон Жуан

Моя мечта надменна и проста:

Схватить весло, поставить ногу в стремя

И обмануть медлительное время,

Всегда лобзая новые уста;

А в старости принять завет Христа,

Потупить взор, посыпать пеплом темя

И взять на грудь спасающее бремя

Тяжелого железного креста!

И лишь когда среди оргии победной

Я вдруг опомнюсь, как лунатик бледный,

Испуганный в тиши своих путей,

Я вспоминаю, что, ненужный атом,

Я не имел от женщины детей

И никогда не звал мужчину братом.

Акростих (АННА АХМАТОВА)

Ангел лег у края небосклона,

Наклоняясь, удивлялся безднам.

Новый мир был темным и беззвездным.

Ад молчал. Не слышалось ни стопа.

Алой крови робкое биенье,

Хрупких рук испуг и содроганье,

Миру снов досталось в обладанье

Ангела святое отраженье.

Тесно в мире! Пусть живет, мечтая

О любви, о грусти и о тени,

В сумраке предвечном открывая

Азбуку своих же откровений.

<1911>

Это было не раз

Это было не раз, это будет не раз

В нашей битве глухой и упорной:

Как всегда, от меня ты теперь отреклась,

Завтра, знаю, вернешься покорной.

Но зато не дивись, мой враждующий друг,

Враг мой, схваченный темной любовью,

Если стоны любви будут стонами мук,

Поцелуи окрашены кровью.

Беатриче

I

Музы, рыдать перестаньте,

Грусть вашу в песнях излейте,

Спойте мне песню о Данте

Или сыграйте на флейте.

Дальше, докучные фавны,

Музыки нет в вашем кличе!

Знаете ль вы, что недавно

Бросила рай Беатриче,

Странная белая роза

В тихой вечерней прохладе...

Что это? Снова угроза

Или мольба о пощаде?

Жил беспокойный художник.

В мире лукавых обличий —

Грешник, развратник, безбожник,

Но он любил Беатриче.

Тайные думы поэта

В сердце его прихотливом

Стали потоками света,

Стали шумящим приливом.

Музы, в сонете-брильянте

Странную тайну отметьте,

Спойте мне песню о Данте

И Габриеле Россетти.

II

В моих садах – цветы, в твоих – печаль.

Приди ко мне, прекрасною печалью

Заворожи, как дымчатой вуалью,

Моих садов мучительную даль.

Ты – лепесток иранских белых роз.

Войди сюда, в сады моих томлений,

Чтоб не было порывистых движений,

Чтоб музыка была пластичных поз,

Чтоб пронеслось с уступа на уступ

Задумчивое имя Беатриче

И чтоб не хор менад, а хор девичий

Пел красоту твоих печальных губ.

III

Пощади, не довольно ли жалящей боли,

Темной пытки отчаянья, пытки стыда!

Я оставил соблазн роковых своеволий,

Усмиренный, покорный, я твой навсегда.

Слишком долго мы были затеряны в безднах,

Волны-звери, подняв свой мерцающий горб,

Нас крутили и били в объятьях железных

И бросали на скалы, где пряталась скорбь.

Но теперь, словно белые кони от битвы,

Улетают клочки грозových облаков.

Если хочешь, мы выйдем для общей молитвы

На хрустящий песок золотых островов.

IV

Я не буду тебя проклинать,

Я печален печалью разлуки,

Но хочу и теперь целовать

Я твои уводящие руки.

Все свершилось, о чем я мечтал

Еще мальчиком странно-влюбленным,

Я увидел блестящий кинжал

В этих милых руках обнаженным.

Ты подаришь мне смертную дрожь,

А не бледную дрожь сладострастья

И меня навсегда уведешь

К островам совершенного счастья.

Девушке

Мне не нравится томность

Ваших скрещенных рук,

И спокойная скромность,

И стыдливый испуг.

Героиня романов Тургенева,

Вы надменны, нежны и чисты,

В вас так много безбурно-осеннего

От аллеи, где кружат листья.

Никогда ничему не поверите,

Прежде чем не сочтете, не смерите,

Никогда никуда не пойдете,

Коль на карте путей не найдете.

И вам чужд тот безумный охотник,

Что, взойдя на нагую скалу,

В пьяном счастье, в тоске безотчетной

Прямо в солнце пускает стрелу.

Сомнение

Вот я один в вечерний тихий час,

Я буду думать лишь о вас, о вас.

Возьмусь за книгу, но прочту: «она»,

И вновь душа пьяна и смятена.

Я брошусь на скрипучую кровать,

Подушка жжет... нет, мне не спать, а ждать.

И крадучись я подойду к окну,

На дымный луг взгляну и на луну,

Вон там, у клумб, вы мне сказали «да»,

О, это «да» со мною навсегда.

И вдруг сознание бросит мне в ответ,

Что вас, покорной, не было и нет,

Что ваше «да», ваш трепет, у сосны

Ваш поцелуй лишь бред весны и сны.

Она

Я знаю женщину: молчанье,

Усталость горькая от слов

Живет в таинственном мерцанье

Ее расширенных зрачков.

Ее душа открыта жадно

Лишь медной музыке стиха,



Пред жизнью дольней и отрадней

Высокомерна и глуха.

Неслышный и неторопливый,

Так странно плавен шаг ее,

Назвать нельзя ее красивой,

Но в ней все счастье мое.

Когда я жажду своеволий

И смел и горд – я к ней иду

Учиться мудрой сладкой боли

В ее истоме и бреде.

Она светла в часы томлений

И держит молнии в руке,

И четки сны ее, как тени

На райском огненном песке.

Баллада («Влюбленные, чья грусть как облака...»)

Влюбленные, чья грусть как облака,

И нежные задумчивые леди,

Какой дорогой вас ведет тоска,

К какой еще неслыханной победе

Над чарой вам назначенных наследий?

Где вашей вечной грусти и слезам

Целительный предложится бальзам?

Где сердце запылает, не сгорая?

В какой пустыне явится глазам,

Блеснет сиянье розового рая?

Вот я нашел, и песнь моя легка,

Как память о давно прошедшем бреде,

Могучая взяла меня рука,

Уже слетел к дрожащей Андромеде

Персей в кольчуге из горящей меди.

Пускай вдали пылает лживый храм,

Где я теням молился и словам,

Привет тебе, о родина святая!

Влюбленные, пытайте рок, и вам

Блеснет сиянье розового рая.

В моей стране спокойная река,

В полях и рощах много сладкой снеди,

Там аист ловит змей у тростника

И в полдень, пьяны запахом камеди,

Кувыркаются рыжие медведи.

И в юном мире юноша Адам,

Я улыбаюсь птицам и плодам,

И знаю я, что вечером, играя,

Пройдет Христос-младенец по водам,

Блеснет сиянье розового рая.

Посылка

Тебе, подруга, эту песнь отдам,

Я веровал всегда твоим стопам,

Когда вела ты, нежа и карая,

Ты знала все, ты знала, что и нам

Блеснет сиянье розового рая.

Николай Гумилев и Анна Ахматова с сыном Львом. Фото 1915 г.

Отравленный

«Ты совсем, ты совсем снеговая,

Как ты странно и страшно бледна!

Почему ты дрожишь, подавая

Мне стакан золотого вина?»

Отвернулась печальной и гибкой...

Что я знаю, то знаю давно,

Но я выпью, и выпью с улыбкой,

Все налитое ею вино.

А потом, когда свечи потушат

И кошмары придут на постель,

Те кошмары, что медленно душат,

Я смертельный почувствую хмель...

И приду к ней, скажу: «Дорогая,

Видел я удивительный сон,

Ах, мне снилась равнина без края

И совсем золотой небосклон.

Знай, я больше не буду жестоким,

Будь счастливой с кем хочешь, хоть с ним,

Я уеду, далеким, далеким,

Я не буду печальным и злым.

Мне из рая, прохладного рая,  
Видны белые отсветы дня...  
И мне сладко – не плачь, дорогая, —  
Знать, что ты отравила меня».  
Расскажу я тайну другу,  
Подтруню над ним  
В теплый час, когда по лугу  
Вечер стелет дым.  
И с улыбкой безобразной  
Он ответит: «Ишь!  
Начитался дряни разной,  
Вот и говоришь».  
«После стольких лет...»  
После стольких лет  
Я пришел назад.  
Но изгнанник я,  
И за мной следят.  
– Я ждала тебя  
Столько долгих лет!  
Для любви моей  
Расстоянья нет.  
– В стороне чужой  
Жизнь прошла моя. Как <украли?> жизнь,  
Не заметил я.  
– Жизнь моя была  
Сладостною мне.  
Я ждала тебя,  
Видела во сне.  
Смерть в доме моем  
И в доме твоём.  
– Ничего, что смерть,  
Если мы вдвоем.  
<1921>  
«Я сам над собой насмеялся...»  
Я сам над собой насмеялся  
И сам я себя обманул,  
Когда мог подумать, что в мире

Есть что-нибудь кроме тебя.

Лишь белая, в белой одежде,

Как в пеплуме древних богинь,

Ты держишь хрустальную сферу

В прозрачных и тонких перстах.

А все океаны, все горы,

Архангелы, люди, цветы —

Они в хрустале отразились

Прозрачных девических глаз.

Как странно подумать, что в мире

Есть что-нибудь кроме тебя,

Что я сам не только ночная

Бессонная песнь о тебе.

Но свет у тебя за плечами,

Такой ослепительный свет.

Там длинные пламени реют,

Как два золотые крыла.

<1921>

Индюк

На утре памяти неверной

Я вспоминаю пестрый луг,

Где царствовал высокомерный,

Мной обожаемый индюк.

Была в нем злоба и свобода,

Был клюв его как пламя ал,

И за мои четыре года

Меня он остро презирал.

Ни шоколад, ни карамели,

Ни ананасная вода

Меня утешить не умели

В сознании моего стыда.

И вновь пришла беда большая,

И стыд, и горе детских лет:

Ты, обожаемая, злая,

Мне гордо отвечаешь: «Нет!»

Но все проходит в жизни зыбкой —

Пройдет любовь, пройдет тоска,

И вспомню я тебя с улыбкой,

Как вспоминаю индюка.

«Нет, ничего не изменилось...»

Нет, ничего не изменилось

В природе бедной и простой,

Все только дивно озарилось

Невыразимой красотой.

Такой и явится, наверно,

Людская немощная плоть,

Когда ее из тьмы безмерной

В час судный воззовет Господь.

Знай, друг мой гордый, друг мой нежный,

С тобою, лишь с тобой одной,

Рыжеволосой, белоснежной,

Я стал на миг самим собой.

Ты улыбнулась, дорогая,

И ты не поняла сама,

Как ты сияешь и какая

Вокруг тебя сгустилась мгла.

**1920**

Сирень

Из букета целого сиреней

Мне досталась лишь одна сирень,

И всю ночь я думал об Елене,

А потом томился целый день.

Все казалось мне, что в белой пене

Исчезает милая земля,

Расцветают влажные сирени

За кормой большого корабля.

И за огненными небесами

Обо мне задумалась она,

Девушка с газельими глазами

Моего любимейшего сна.

Сердце прыгало, как детский мячик,

Я, как брату, верил кораблю,

Оттого, что мне нельзя иначе,

Оттого, что я ее люблю.

<1917>

«Мы в аллеях светлых пролетали...»

Мы в аллеях светлых пролетали,

Мы летели около воды,

Золотые листья опадали

В синие и сонные пруды.

И причуды, и мечты, и думы

Поверяла мне она свои,

Все, что может девушка придумать

О еще неведомой любви.

Говорила: «Да, любовь свободна,

И в любви свободен человек,

Только то лишь сердце благородно,

Что умеет полюбить навек».

Я смотрел в глаза ее большие,

И я видел милое лицо

В рамке, где деревья золотые

С водами слились в одно кольцо.

И я думал: «Нет, любовь не это!

Как пожар в лесу, любовь – в судьбе,

Потому что даже без ответа

Я отныне обречен тебе».

<1917>

«Мой альбом, где страсть сквозит без меры...»

Мой альбом, где страсть сквозит без меры

В каждой мной отточенной строфе,

Дивным покровительством Венеры

Спасся он от ауто да фэ.

И потом – да славится наука! —

Будет в библиотеке стоять

Вашего расчетливого внука

В год две тысячи и двадцать пять.

Но американец длинноносый

Променяет Фриско на Тамбов,

Сердцем вспомнив русские березы,

Звон малиновый колоколов.

Гостем явит он себя достойным

И, узнав, что был такой поэт,

Мой (и Ваш) альбом с письмом пристойным

Он отправит в университет.

Мой биограф будет очень счастлив,

Будет удивляться два часа,

Как осел, перед которым в ясли

Свежего насыпали овса.

Вот и монография готова,

Фолиант почтенной толщины:

«О любви несчастной Гумилева

В год четвертый мировой войны».

И когда тогдашние Лигейи,

С взорами, где ангелы живут,

Со щеками лепестка свежее,

Прочитают сей почтенный труд

Каждая подумает уныло,

Легкого презренья не тая:

«Я б американца не любила,

А любила бы поэта я».

<1917>

Синяя звезда

Я вырван был из жизни тесной,  
Из жизни скудной и простой,  
Твоей мучительной, чудесной,  
Неотвратимой красотой.

И умер я... и видел пламя,  
Не виданное никогда.

Пред ослепленными глазами

Светилась синяя звезда.

Как вдруг из глуби осиянной

Возник обратно мир земной,

Ты птицей раненой нежданно

Затрепетала предо мной.

Ты повторяла: «Я страдаю».

Но что же делать мне, когда

Я наконец так сладко знаю,

Что ты лишь синяя звезда.

<1917>

Богатое сердце

Дремала душа, как слепая,

Так пыльные спят зеркала,

Но солнечным облаком рая

Ты в темное сердце вошла.

Не знал я, что в сердце так много

Созвездий слепящих таких,

Чтоб вымолвить счастье у Бога

Для глаз говорящих твоих.

Не знал я, что в сердце так много

Созвучий звенящих таких,

Чтоб вымолвить счастье у Бога

Для губ полудетских твоих.

И рад я, что сердце богато,

Ведь тело твое из огня,

Душа твоя дивно крылата,

Певучая ты для меня.

<1917>

Прощанье



Ты не могла иль не хотела  
Мою почувствовать истому,  
Свое дурманящее тело  
И сердце отдала другому.  
Зато, когда перед бедою  
Я обессилю, стиснув зубы,  
Ты не придешь смочить водою  
Мои запекшиеся губы.  
В часы последнего усилья,  
Когда и ангелы заплещут,  
Твои серебряные крылья  
Передо мною не заблещут.  
И в встречу радостной победе  
Мое ликующее знамя  
Ты не поднимешь в реве меди  
Своими нежными руками.  
И ты меня забудешь скоро,  
И я не стану думать, вольный,  
О милой девочке, с которой  
Мне было нестерпимо больно.

<1917>

Девочка  
Временами, не справясь с тоскою  
И не в силах смотреть и дышать,  
Я, глаза закрывая рукою,  
О тебе начинаю мечтать.  
Не о девушке тонкой и томной,  
Как тебя увидали бы все,  
А о девочке тихой и скромной,  
Наклоненной над книжкой Мюссе.  
День, когда ты узнала впервые,  
Что есть Индия – чудо чудес,  
Что есть тигры и пальмы святые, —  
Для меня этот день не исчез.  
Иногда ты смотрела на море,  
А над морем сходилась гроза.  
И совсем настоящее горе  
Застилало туманом глаза.

Почему по побережьям безмолвным

Не взноситься дворцам золотым?

Почему по светящимся волнам

Не приходит к тебе серафим?

И я знаю, что в детской постели

Не спалось вечерами тебе.

Сердце билось, и взоры блестели,

О большой ты мечтала судьбе.

Утонув с головой в одеяле,

Ты хотела стать солнца светлей,

Чтобы люди тебя называли

Счастьем, лучшей надеждой своей.

Этот мир не слукавил с тобою,

Ты внезапно прорезала тьму,

Ты явилась слепящей звездой,

Хоть не всем – только мне одному.

Но теперь ты не та, ты забыла

Все, чем в детстве ты думала стать.

Где надежда? Весь мир – как могила.

Счастье где? Я не в силах дышать.

И, таинственный твой собеседник,

Вот я душу мою отдаю

За твой маленький детский передник,

За разбитую куклу твою.

<1917>

Уста солнца

Неизгладимы, нет, в моей судьбе

Твой детский рот и смелый взгляд девический.

Вот почему, мечтая о тебе,

Я говорю и думаю ритмически.

Я чувствую огромные моря,

Колеблемые лунным притяжением,

И сонмы звезд, что движутся, горя,

От века им назначенным движением.

О, если б ты была всегда со мной,

Улыбчиво-благая, настоящая,

На звезды я бы мог ступить пятой

И солнце б целовал в уста горящие.

<1917>

«Нежно-небывалая отрада...»

Нежно-небывалая отрада

Прикоснулась к моему плечу,

И теперь мне ничего не надо,

Ни тебя, ни счастья не хочу.

Лишь одно я принял бы не споря

Тихий, тихий, золотой покой

Да двенадцать тысяч футов моря

Над моей пробитой головой.

Чтобы грезить, как бы сладко нежил

Тот покой и вечный гул томил,

Если б только никогда я не жил,

Никогда не пел и не любил.

<1917>

«Когда, изнемогши от муки...»

Когда, изнемогши от муки,

Я больше ее не люблю,

Какие-то бледные руки

Ложатся на душу мою.

И чьи-то печальные очи

Зовут меня тихо назад,

Во мраке остынувшей ночи

Нездешней мольбою горят.

И снова, рыдая от муки,

Проклявши свое бытие,

Целую я бледные руки

И тихие очи ее.

<1914>

Канцона первая («В скольких земных океанах я плыл...») В скольких земных океанах я плыл,

Древних, веселых и пенных,

Сколько в степях караванов водил

Дней и ночей несравненных...

Как мы смеялись в былые года

С вольною Музой моею...

Рифмы, как птицы, слетались тогда,

Сколько – и вспомнить не смею.

Только любовь мне осталась, струной

Ангельской арфы взывая,

Душу пронзая, как тонкой иглой,

Синими светами рая.

Ты мне осталась одна. Наяву

Видевший солнце ночное,

Лишь для тебя на земле я живу,

Делаю дело земное.

Да, ты в моей беспокойной судьбе —

Иерусалим пилигримов.

Надо бы мне говорить о тебе

На языке серафимов.

Канцона вторая («Храм Твой, Господи, в небесах...») Храм Твой, Господи, в небесах,

Но земля тоже Твой приют.

Расцветают липы в лесах,

И на липах птицы поют.

Точно благовест Твой, весна

По веселым идет полям,

А весною на крыльях сна

Прилетают ангелы к нам.

Если, Господи, это так,

Если праведно я пою,

Дай мне, Господи, дай мне знак,

Что я волю понял Твою.

Перед той, что сейчас грустна,

Появись, как Незримый Свет,

И на все, что спросит она,

Ослепительный дай ответ.

Ведь отрадней пения птиц,

Благодатней ангельских труб

Нам дрожанье милых ресниц

И улыбка любимых губ.

Канцона третья («Как тихо стало в природе...»)

Как тихо стало в природе,

Вся – зренье она, вся – слух,

К последней, страшной свободе

Склонился уже наш дух.

Земля забудет обиды

Всех воинов, всех купцов,

И будут, как встарь, друиды

Учить с зеленых холмов.

И будут, как встарь, поэты

Вести сердца к высоте,

Как ангел водит кометы

К неведомой им мете.

Тогда я воскликну: «Где же

Ты, созданная из огня?

Ты видишь, взоры все те же,

Все та же песнь у меня.

Делюсь я с тобою властью,

Слуга твоей красоты,

За то, что полное счастье,

Последнее счастье – ты!»

Рассыпающая звезды

Не всегда чужда ты и горда

И меня не хочешь не всегда,

Тихо, тихо, нежно, как во сне,

Иногда приходишь ты ко мне.

Надо лбом твоим густая прядь,

Мне нельзя ее поцеловать,

И глаза большие зажжены

Светами магической луны.

Нежный друг мой, беспощадный враг,

Так благословен твой каждый шаг,

Словно по сердцу ступаешь ты,

Рассыпая звезды и цветы.

Я не знаю, где ты их взяла,

Только отчего ты так светла

И тому, кто мог с тобой побыть,

На земле уж нечего любить?

Сон

Застонал я от сна дурного

И проснулся, тяжело скорбя:

Снилось мне – ты любишь другого

И что он обидел тебя.

Я бежал от моей постели,  
Как убийца от плахи своей,  
И смотрел, как тускло блестели  
Фонари глазами зверей.  
Ах, наверно, таким бездомным  
Не блуждал ни один человек  
В эту ночь по улицам темным,  
Как по руслу высохших рек.  
Вот стою перед дверью твоею,  
Не дано мне иного пути,  
Хоть и знаю, что не посмею  
Никогда в эту дверь пойти.  
Он обидел тебя, я знаю,  
Хоть и было это лишь сном,  
Но я все-таки умираю  
Пред твоим закрытым окном.  
О тебе  
О тебе, о тебе, о тебе,  
Ничего, ничего обо мне!  
В человеческой темной судьбе  
Ты – крылатый призыв к вышине.  
Благородное сердце твое —  
Словно герб отошедших времен.  
Освящается им бытие  
Всех земных, всех бескрылых племен.  
Если звезды, ясны и горды,  
Отвернутся от нашей земли,  
У нее есть две лучших звезды:  
Это – смелые очи твои.  
И когда золотой серафим  
Протрубит, что исполнился срок,  
Мы поднимем тогда перед ним,  
Как защиту, твой белый платок.  
Звук замрет в задрожавшей трубе,  
Серафим пропадет в вышине...  
...О тебе, о тебе, о тебе,  
Ничего, ничего обо мне!

Уходящей

Не медной музыкой фанфар,

Не грохотом рогов

Я мой приветствовал пожар

И сон твоих шагов.

Сковала бледные уста

Святая Тишина,

И в небе знаменем Христа

Сияла нам луна.

И рокотали соловьи

О Розе Горних стран,

Когда глаза мои, твои

Заворожил туман.

И вот теперь, когда с тобой

Я здесь последний раз,

Слезы ни флейта, ни гобой

Не вызовут из глаз.

Теперь душа твоя мертва,

Мечта твоя темна,

А мне все те ж твердит слова

Святая Тишина.

Соединяющий тела

Их разлучает вновь,

Но будет жизнь моя светла,

Пока жива любовь.

«Нет тебя тревожней и капризней...»

Нет тебя тревожней и капризней,

Но тебе предался я давно

Оттого, что много, много жизней

Ты умеешь волей слить в одно.

И сегодня... Небо было серо,

День прошел в томительном бреду,

За окном, на мокром дерне сквера

Дети не играли в чехарду.

Ты смотрела старые гравюры,

Подпирая голову рукой,

И смешно-нелепые фигуры

Проходили скучной чередой.

«Посмотри, мой милый, видишь – птица,

Вот и всадник, конь его так быстр,

Но как странно хмурится и злится

Этот сановитый бургомистр!»

А потом читала мне про принца,

Был он нежен, набожен и чист,

И рукав мой кончиком мизинца

Трогала, повертывая лист.

Но когда дневные смолкли звуки

И взошла над городом луна,

Ты внезапно заломила руки,

Стала так мучительно бледна.

Пред тобой смущенно и несмело

Я молчал, мечтая об одном:

Чтобы скрипка ласковая пела

И тебе о рае золотом.

<1910?>

«Отвечай мне, картонажный мастер...»

Отвечай мне, картонажный мастер,

Что ты думал, делая альбом

Для стихов о самой нежной страсти

Толщиною в настоящий том.

Картонажный мастер, глупый, глупый,

Видишь, кончилась моя страда,

Губы милой были слишком скупы,

Сердце не дрожало никогда.

Страсть пропела песней лебединой,

Никогда ей не запеть опять,

Так же, как и женщине с мужчиной

Никогда друг друга не понять.

Но поет мне голос настоящий,

Голос жизни близкой для меня,

Звонкий, словно водопад кипящий,

Словно гул растущего огня:

«В этом мире есть большие звезды,

В этом мире есть моря и горы,

Здесь любила Беатриче Данта,



Здесь ахейцы разорили Трои!

Если ты теперь же не забудешь

Девушки с огромными глазами,

Девушки с искусными речами,

Девушки, которой ты не нужен,

То и жить ты, значит, недостойн».

<1917>

«Я не прожил, я протомился...»

Я не прожил, я протомился

Половину жизни земной,

И, Господь, вот Ты мне явился

Невозможной такой мечтой.

Вижу свет на горе Фаворе

И безумно тоскую я,

Что взлюбил и сушу и море,

Весь дремучий сон бытия;

Что моя молодая сила

Не смирилась перед Твоей,

Что так больно сердце томила

Красота Твоих дочерей.

Но любовь разве цветик алый,

Чтобы ей лишь мгновенье жить,

Но любовь разве пламень малый,

Что ее легко погасить?

С этой тихой и грустной думой

Как-нибудь я жизнь дотяну,

А о будущей Ты подумай,

Я и так погубил одну.

Портрет

Лишь темный бархат, на котором

Забыт сияющий алмаз,

Сумею я сравнить со взором

Ее почти поющих глаз.

Ее фарфоровое тело

Тревожит смутной белизной,

Как лепесток сирени белой

Под умирающей луной.

Пусть руки нежно-восковые,

Но кровь в них так же горяча,

Как перед образом Марии

Неугасимая свеча.

И вся она легка, как птица

Осенней ясною порой,

Уже готовая проститься

С печальной северной страной.

<1917>

«Священные плывут и тают ночи...»

Священные плывут и тают ночи,

Проносятся эпические дни,

И смерти я заглядываю в очи,

В зеленые болотные огни.

Она везде – и в зареве пожара,

И в темноте, неожиданна и близка,

То на коне венгерского гусара,

А то с ружьем тирольского стрелка.

Но прелесть ясная живет в сознание,

Что хрупки так оковы бытия,

Как будто женственно все мирозданье

И управляю им всецело я.

Когда промчится вихрь, заплещут воды,

Зальются птицы в чайный зари,

То слышится в гармонии природы

Мне музыка Ирина Энери.

Весь день томясь от непонятной жажды

И облаков следя крылатый рой,

Я думаю: «Карсавина однажды,

Как облако, плясала предо мной».

А ночью в небе древнем и высоком

Я вижу записи судеб моих

И ведаю, что обо мне, далеком,

Звенит Ахматовой сиренный стих.

Так не умею думать я о смерти,

И все мне грезятся, как бы во сне,

Те женщины, которые бессмертье

Моей души доказывают мне.

<1914>

«Перед ночью северной, короткой...»

Перед ночью северной, короткой

И за нею – зори, словно кровь...

Подошла неслышною походкой,

Посмотрела на меня любовь...

Отравила взглядом и дыханьем,

Слаще роз дыханьем, и ушла —

В белый май с его очарованьем,

В лунные, слепые зеркала...

У кого я попрошу совета,

Как до легкой осени дожить,

Чтобы это огненное лето

Не могло меня испепелить?

Как теперь молиться буду Богу,

Плача, замирая и горя,

Если я забыл мою дорогу

К каменным стенам монастыря...

Если взоры девушки любимой —

Слаще взоров жителей высот,

Краше горнего Иерусалима —

Летний сад и зелень сонных вод...

<1917>

Слоненок

Моя любовь к тебе сейчас – слоненок,

Родившийся в Берлине иль Париже

И топающий ватными ступнями

По комнатам хозяина зверинца.

Не предлагай ему французских булок,

Не предлагай ему кочней капустных,

Он может съесть лишь дольку мандарина,

Кусочек сахару или конфету.

Не плачь, о нежная, что в тесной клетке

Он делается посмеяньем черни,

Чтоб в нос ему пускали дым сигары

Приказчики под хохот мидинеток.

Не думай, милая, что день настанет,

Когда, взбесившись, разорвет он цепи,

И побежит по улицам, и будет,

Как автобус, давить людей вопящих.

Нет, пусть тебе приснится он под утро

В парче и меди, в страусовых перьях,

Как тот, Великолепный, что когда-то

Нес к трепетному Риму Ганнибала.

«Ветла чернела. На вершине...»

Ветла чернела. На вершине

Грачи топорщились слегка.

В долине неба темно-синей

Паслись, как овцы, облака.

И ты с покорностью во взоре

Сказала: «Влюблена я в Вас».

Кругом трава была как море,

Послеполуденный был час.

Я целовал пыланья лета

Тень трав на розовых щеках,

Благоуханный праздник света

На бронзовых твоих кудрях.

И ты казалась мне желанной,

Как небывалая страна.

Какой-то край обетованный

Восторгов, песен и вина.

# 1920

Веселые сказки таинственных стран

Жираф

Сегодня, я вижу, особенно грустен твой взгляд

И руки особенно тонки, колени обняв.

Послушай: далеко, далеко, на озере Чад

Изысканный бродит жираф.

Ему грациозная стройность и нега дана,

И шкуру его украшает волшебный узор,

С которым равняться осмелится только луна,

Дробясь и качаясь на влаге широких озер.

Вдали он подобен цветным парусам корабля,

И бег его плавен, как радостный птичий полет.

Я знаю, что много чудесного видит земля,

Когда на закате он прячется в мраморный грот.

Я знаю веселые сказки таинственных стран

Про черную деву, про страсть молодого вождя,

Но ты слишком долго вдыхала тяжелый туман,

Ты верить не хочешь во что-нибудь, кроме дождя.

И как я тебе расскажу про тропический сад,

Про стройные пальмы, про запах немислимых трав...

Ты плачешь? Послушай... далеко, на озере Чад

Изысканный бродит жираф.

Ослепительное

Я тело в кресло уроню,

Я свет руками заслоню

И буду плакать долго, долго,

Припоминая вечера,

Когда не мучило «вчера»

И не томили цепи долга;

И в море врезавшийся мыс,

И одинокий кипарис,

И благосклонного Гуссейна,

И медленный его рассказ

В часы, когда не видит глаз

Ни кипариса, ни бассейна.

И снова властвует Багдад,

И снова странствует Синдбад,  
Вступает с демонами в ссору,  
И от египетской земли  
Опять уходят корабли  
В великолепную Бассору.  
Купцам и прибыль и почет.  
Но нет, не прибыль их влечет  
В нагих степях, над бездной водной;  
О тайна тайн, о птица Рок,  
Не твой ли дальний островок  
Им был звездой путеводной?  
Ты уводила моряков  
В пещеры джиннов и волков,  
Хранящих древнюю обиду,  
И на висячие мосты  
Сквозь темно-красные кусты  
На пир к Гаруну аль-Рашиду.  
И я когда-то был твоим,  
Я плыл, покорный пилигрим,  
За жизнью благодной и мирной,  
Чтоб повстречал меня Гуссейн  
В садах, где розы и бассейн,  
На берегу за старой Смирной.  
Когда-то... Боже, как часты  
И как мучительны мечты!  
Ну что же, раньте сердце, раньте,  
Я тело в кресло уроню,  
Я свет руками заслоню  
И буду плакать о Леванте.  
Озеро Чад  
На таинственном озере Чад  
Посреди вековых баобабов  
Вырезные фелуки стремят  
На заре величавых арабов.  
По лесистым его берегам  
И в горах, у зеленых подножий,  
Поклоняются странным богам  
Девы-жрицы с эбеновой кожей.

Я была женой могучего вождя,  
Дочь властительного Чада,  
Я одна во время зимнего дождя  
Совершала таинство обряда.  
Говорили – на сто миль вокруг  
Женщин не было меня светлее,  
Я браслетов не снимала с рук.  
И янтарь всегда висел на шее.  
Белый воин был так строен,  
Губы красны, взор спокоен,  
Он был истинным вождем;  
И открылась в сердце дверца,  
А когда нам шепчет сердце,  
Мы не боремся, не ждем.  
Он сказал мне, что едва ли  
И во Франции видали  
Обольстительней меня,  
И как только день растает,  
Для двоих он оседлает  
Берберийского коня.  
Муж мой гнался с верным луком,  
Пробегал лесные чащи,  
Перепрыгивал овраги,  
Плыл по сумрачным озерам  
И достался смертным мукам.  
Видел только день палящий  
Труп свирепого бродяги,  
Труп покрытого позором.  
А на быстром и сильном верблюде,  
Утопая в ласкающей груди  
Шкур звериных и шелковых тканей,  
Уносила я птицей на север,  
Я ломала мой редкостный веер,  
Упиваясь восторгом заране.  
Раздвигала я гибкие складки  
У моей разноцветной палатки  
И, смеясь, наклонялась в оконце,

Я смотрела, как прыгает солнце

В голубых глазах европейца.

А теперь, как мертвая смоковница,

У которой листья облетели,

Я ненужно-скучная любовница,

Словно вещь, я брошена в Марселе.

Чтоб питаться жалкими отбросами,

Чтобы жить, вечернею порою

Я пляшу пред пьяными матросами,

И они, смеясь, владеют мною.

Робкий ум мой обессилен бедами,

Взор мой с каждым часом угасает...

Умереть? Но там, в полях неведомых,

Там мой муж, он ждет и не прощает.

Гиена

Над тростником медлительного Нила,

Где носятся лишь бабочки да птицы,

Скрывается забытая могила

Преступной, но пленительной царицы.

Ночная мгла несет свои обманы,

Встает луна, как грешная сирена,

Бегут белесоватые туманы,

И из пещеры крадется гиена.

Ее стенанья яростны и грубы,

Ее глаза зловещи и унылы,

И страшны угрожающие зубы

На розоватом мраморе могилы.

«Смотри, луна, влюбленная в безумных,

Смотрите, звезды, стройные виденья,

И темный Нил, владыка вод бесшумных,

И бабочки, и птицы, и растенья.

Смотрите все, как шерсть моя дыбится,

Как блещут взоры злыми огоньками,

Не правда ль, я такая же царица,

Как та, что спит под этими камнями?

В ней билось сердце, полное изменой,

Носили смерть изогнутые брови,

Она была такую же гиеной,



Она, как я, любила запах крови».

По деревням собаки воют в страхе,

В домах рыдают маленькие дети,

И хмурые хватаются феллахи

За длинные, безжалостные плети.

Носорог

Видишь, мчатся обезьяны

С диким криком на лианы,

Что свисают низко, низко,

Слышишь шорох многих ног?

Это значит – близко, близко

От твоей лесной поляны

Разъяренный носорог.

Видишь общее смятенье,

Слышишь топот? Нет сомненья,

Если даже буйвол сонный

Отступает глубже в грязь.

Но, в нездешнее влюбленный,

Не ищи себе спасенья,

Убегая и таясь.

Подними высоко руки

С песней счастья и разлуки,

Взоры в розовых туманах

Мысль далеко уведут,

И из стран обетованных

Нам незримые фелуки

За тобою приплывут.

Попугай

Я попугай с Антильских островов,

Но я живу в квадратной келье мага.

Вокруг – реторты, глобусы, бумага,

И кашель старика, и бой часов.

Пусть в час заклятий, в вихре голосов

И в блеске глаз, мерцающих, как шлага,

Ерошат крылья ужас и отвага

И я сражаюсь с призраками сов...

Пусть! Но едва под этот свод унылый

Войдет гадать о картах иль о милой

Распутник в раззолоченном плаще

Мне грезится корабль в тиши залива,

Я вспоминаю солнце... и вотще

Стремлюсь забыть, что тайна некрасива.

Тразименское озеро

Зеленое, все в пенистых буграх,

Как горсть воды, из океана взятой,

Но пригоршней гиганта чуть разжатой,

Оно томится в плоских берегах.

Не блещет плуг на мокрых бороздах,

И медлен буйвол, грузный и рогатый,

Здесь темной думой удручен вожатый,

Здесь зреет хлеб, но лавр уже зачах.

Лишь иногда, наскучивши покоем,

С кипеньем, гулом, гиканьем и воем

Оно своих не хочет берегов,

Как будто вновь под ратью Ганнибала

Вздохнули скалы, слышен визг шакала

И трубный голос бешеных слонов.

<1913>

Леопард

Если убитому леопарду не опалить немедленно усов, дух его будет преследовать охотника.

Абиссинское поверье

Колдовством и ворожбою

В тишине глухих ночей

Леопард, убитый мною,

Занят в комнате моей.

Люди входят и уходят,

Позже всех уходит та,

Для которой в жилах бродит

Золотая темнота.

Поздно. Мыши засвистели,

Глухо крякнул домовый,

И мурлычет у постели

Леопард, убитый мной.

«По ущельям Добробрана

Сизый плавает туман,  
Солнце, красное как рана,  
Озарило Добробран.  
Запах меда и вервены  
Ветер гонит на восток,  
И ревут, ревут гиены,  
Зарывая нос в песок.  
Брат мой, враг мой, ревы слышишь,  
Запах чуешь, видишь дым?  
Для чего ж тогда ты дышишь  
Этим воздухом сырым?  
Нет, ты должен, мой убийца,  
Умереть в стране моей,  
Чтоб я снова мог родиться  
В леопардовой семье».  
Неужели до рассвета  
Мне ловить лукавый зов?  
Ах, не слушал я совета,  
Не спалил ему усов.  
Только поздно! Вражья сила  
Одолела и близка:  
Вот затылок мне сдавила  
Точно медная рука...  
Пальмы... с неба страшный пламень  
Жжет песчаный водоем...  
Данакиль припал за камень  
С пламенеющим копьем.  
Он не знает и не спросит,  
Чем душа моя горда,  
Только душу эту бросит,  
Сам не ведая куда.  
И не в силах я бороться,  
Я спокоен, я встаю,  
У жирафьего колодца  
Я окончу жизнь мою.  
Вступленье  
Оглушенная ревом и топотом,

Облеченная в пламя и дымы,  
О тебе, моя Африка, шепотом  
В небесах говорят серафимы.  
И, твое раскрывая Евангелие,  
Повесть жизни ужасной и чудной,  
О неопытном думают ангеле,  
Что приставлен к тебе, безрассудной.  
Про деянья свои и фантазии,  
Про звериную душу послушай,  
Ты, на дереве древнем Евразии  
Исполинской висящая грушей.  
Обреченный тебе, я поведаю  
О вождях в леопардовых шкурах,  
Что во мраке лесов за победою  
Водят полчища воинов хмурых;  
О деревнях с кумирами древними,  
Что смеются улыбкой недоброй,  
И о львах, что стоят над деревнями  
И хвостом ударяют о ребра.  
Дай за это дорогу мне торную  
Там, где нету пути человеку,  
Дай назвать моим именем черную  
До сих пор не открытую реку;  
И последнюю милость, с которою  
Отойду я в селенья святые:  
Дай скончаться под той сикоморою,  
Где с Христом отдыхала Мария.  
Из «Африканского дневника...»

Однажды в декабре 1912 г. я находился в одном из тех прелестных, заставленных книгами уголков Петербургского университета, где студенты, магистранты, а иногда и профессора, пьют чай, слегка подтрунивая над специальностью друг друга. Я ждал известного египтолога, которому принес в подарок вывезенный мной из предыдущей поездки абиссинский складень: Деву Марию с младенцем на одной половине и святого с отрубленной ногой на другой. В этом маленьком собрание мой складень имел посредственный успех: классик говорил о его антихудожественности, исследователь Ренессанса о европейском влиянии, обесценивавшем его, этнограф о преимуществе искусства сибирских инородцев. Гораздо больше интересовались моим путешествием, задавая обычные в таких случаях вопросы: много ли там львов, очень ли опасны гиены, как поступают путешественники в случае нападения абиссинцев. И как я ни уверял, что львов надо искать неделями, что гиены трусливее зайцев, что абиссинцы страшные законники и никогда ни на кого не нападают, я видел, что мне почти не верят. Разрушать легенды оказалось труднее, чем их создавать.

В конце разговора профессор Ж. спросил, были уже с рассказом о моем путешествии в Академии наук. Я сразу представил себе это громадное белое здание с внутренними дворами, лестницами, переулками, целую крепость, охраняющую официальную науку от внешнего мира; служителей с галунами, допытывающихся, кого именно я хочу видеть; и, наконец, холодное лицо дежурного секретаря, объявляющего мне, что Академия не интересуется частными работами, что у Академии есть свои исследователи, и тому подобные обескураживающие фразы. Кроме того, как литератор я привык смотреть на академиков, как на своих исконных врагов. Часть этих соображений, конечно, в смягченной форме я и высказал профессору Ж. Однако не прошло и получаса, как с рекомендательным

письмом в руках я оказался на витой каменной лестнице перед дверью в приемную одного из вершителей академических судеб.

С тех пор прошло пять месяцев. За это время я много бывал и на внутренних лестницах, и в просторных, заставленных еще не разобранными коллекциями кабинетах, на чердаках и в подвалах музеев этого большого белого здания над Невой. Я встречал ученых, точно только что соскочивших со страниц романа Жюль Верна, и таких, что с восторженным блеском глаз говорят о тлях и кокцидах, и таких, чья мечта добыть шкуру красной дикой собаки, водящейся в Центральной Африке, и таких, что, подобно Бодлеру, готовы поверить в подлинную божественность маленьких идолов из дерева и слоновой кости. И почти везде прием, оказанный мне, поражал своей простотой и сердечностью. Принцы официальной науки оказались, как настоящие принцы, доброжелательными и благосклонными.

У меня есть мечта, живучая при всей трудности ее выполнения. Пройти с юга на север Данакильскую пустыню, лежащую между Абиссинией и Красным морем, исследовать нижнее течение реки Гаваша, узнать рассеянные там неизвестные загадочные племена. Номинально они находятся под властью абиссинского правительства, фактически свободны. И так как все они принадлежат к одному племени данакилей, довольно способному, хотя очень свирепому, их можно объединить и, найдя выход к морю, цивилизовать или, по крайней мере, арабизировать. В семье народов прибавится еще один сочлен. А выход к морю есть. Это – Рагейта, маленький независимый султанат, к северу от Обока. Один русский искатель приключений – в России их не меньше, чем где бы то ни было, – совсем было приобрел его для русского правительства. Но наше министерство иностранных дел ему отказало.

Этот мой маршрут не был принят Академией. Он стоил слишком дорого. Я примирился с отказом и представил другой маршрут, принятый после некоторых обсуждений Музеем антропологии и этнографии при Императорской Академии наук.

Я должен был отправиться в порт Джибути в Баб-эль-Мандебском проливе, оттуда по железной дороге к Харрару, потом, составив караван, на юг, в область, лежащую между Сомалийским полуостровом и озерами Рудольфа, Маргариты, Звай; захватить возможно больший район исследования; делать снимки, собирать этнографические коллекции, записывать песни и легенды. Кроме того, мне предоставлялось право собирать зоологические коллекции.<...>

Приготовления к путешествию заняли месяц упорного труда. Надо было достать палатку, ружья, седла, вьюки, удостоверения, рекомендательные письма и пр. и пр.

Я так измучился, что накануне отъезда весь день лежал в жару. Право, приготовления к путешествию труднее самого путешествия.

7-го апреля мы выехали из Петербурга, 9-го утром были в Одессе.

Вверх по Нилу (Листы из дневника)

9 мая

Я устал от Каира, от солнца, туземцев, европейцев, декоративных жирафов и злых обезьян. Каждой ночью мне снится иная страна, знакомая и прекрасная, каждой ночью я ясно помню, что мне надо делать, но, просыпаясь, забываю все. Проходят дни, недели, а я все еще в Каире.

<...>

24 мая

Мы едем почти две недели и сегодня высадились на берег около маленькой пирамиды, неизвестной туристам. Поблизости не было ни души, и мы вошли в нее без проводника. Лестница висела, поднималась и опускалась и внезапно окончилась пугающей заманчиво-черной ямой. Мистер Тъери лениво пожал плечами и пошел наверх, а я привязал веревку к выступу скалы и начал спускаться, держав руке

смоляной факел, ронявший огненные капли в темноту. Скоро я добрался до сырого, растреснутого дна и, присев на камень, огляделся. Мой факел освещал только часть пещеры, старую, старую и странно родную.

Где-то сочилась вода. Валялись остатки рассыпавшейся мумии. Мелькнула и скрылась большая черная змея. «Она никогда не видела солнца», – с тревогой подумал я. Задумчивая жаба выползла из-за камня и, видимо, хотела подойти ко мне. Но ее пугал свет факела.

Мне стало вдруг так грустно, как никогда еще не бывало. Чтобы рассеяться, я подошел к стене и начал разбирать полустертую иероглифическую надпись. Она была написана на очень старом египетском, много старше луврских папирусов. Только в Британском музее я видел такие же письма. Но, должно быть, благословение задумчивой жабы прояснило мой ум, я читал и понимал. Это не был рассказ о старых битвах или рецепт приготовления мумий. Это были слова, полные сладким пьяным огнем, которые ложились на душу и преображали ее, давая новые взоры, способные понять все.

Я плакал слезами благодарности и чувствовал, что теперь мир переменится, одно слово... и новое солнце заплещет в золотистой лазури и все ошибки превратятся в цветы.

Мой факел затрещал и начал гаснуть. Но я прочитал довольно. Я начал подниматься и при последней вспышке огня опять увидел черную змею, мелькнувшую неясным предостережением, и милые, милые святые буквы. <...>

Красное море

Здравствуй, Красное море, акуля уха,

Негритянская ванна, песчаный котел!

На утесах твоих вместо влажного мха

Известняк, словно каменный кактус, расцвел.

На твоих островах в раскаленном песке,

Позабыты приливом, растущим в ночи,

Издыхают чудовища моря в тоске:

Осьминоги, тритоны и рыбы-мечи.

С африканского берега сотни пирог

Отплывают и жемчуга ищут вокруг,

И стараются их отогнать на восток

С аравийского берега сотни фелук.

Если негр будет пойман, его уведут

На невольничий рынок Ходейды в цепях,

Но араб несчастливый находит приют

В грязно-рыжих твоих и горячих волнах.

Как учитель среди шалунов, иногда

Океанский проходит среди них пароход,

Под винтом снеговая клокочет вода,

А на палубе – красные розы и лед.

Ты бессильно над ним; пусть ревет ураган,

Пусть волна как хрустальная встанет гора,

Закурив папиросу, вздохнет капитан:

«Слава Богу, свежо! Надоела жара!»

Целый день над водой, словно стая стрекоз,

Золотые летучие рыбы видны,

У песчаных серпами изогнутых кос

Мели, точно цветы, зелены и красны.

Блещет воздух, налитый прозрачным огнем,

Солнце сказочной птицей глядит с высоты:

– Море, Красное море, ты царственно днем,

Но ночами вдвойне ослепительно ты!

Только тучкой скользнут водяные пары,

Тени черных русалок мелькнут на волнах,

Нам чужие созвездья, кресты, топоры

Над тобой загорятся в небесных садах.

И огнями бенгальскими сразу мерцать

Начинают твои колдовские струи,

Искры в них и лучи, словно хочешь создать,

Позавидовав небу, ты звезды свои.

И когда выплывает луна на зенит,

Ветр проносится, запахи леса тая,

От Суэца до Баб-эль-Мандеба звенит,

Как Эолова арфа, поверхность твоя.

На обрывистый берег выходят слоны,

Чутко слушая волн набегающих шум,

Обожать отраженье ущербной луны,

Подступают к воде и боятся акул.

И ты помнишь, как, только одно из морей,

Ты исполнило некогда Божий закон,

Разорвало могучие сплавы зыбей,

Чтоб прошел Моисей и погиб Фараон.

Из «Африканского дневника...»

<...> Не всякий может полюбить Суэцкий канал, но тот, кто полюбит его, полюбит надолго. Эта узкая полоска неподвижной воды имеет совсем особенную грустную прелесть.

На африканском берегу, где разбросаны домики европейцев, заросли искривленных мимоз с подозрительно темной, словно после пожара, зеленью, низкорослые толстые банановые пальмы; на азиатском берегу волны песка пепельно-рыжего, раскаленного. Медленно проходит цепь верблюдов, позванивая колокольчиками. Изредка показывается какой-нибудь зверь, собака, может быть, гиена или шакал, смотрит с сомнением и убегает. Большие белые птицы кружат над водой или садятся отдыхать на камни. Кое-где полуголые арабы, дервиши или так бедняки, которым не нашлось места в городах, сидят у самой воды и смотрят в нее, не отрываясь, будто колдуя. Впереди и позади нас движутся другие пароходы. Ночью, когда загораются прожекторы, это имеет вид похоронной процессии. Часто приходится останавливаться, чтобы пропустить встречное судно, проходящее медленно и молчаливо, словно озабоченный человек. Эти

тихие часы на Суэцком канале усмиряют и убаюкивают душу, чтобы потом ее застала врасплох буйная прелесть Красного моря.

Самое жаркое из всех морей, оно представляет картину грозную и прекрасную. Вода, как зеркало, отражает почти отвесные лучи солнца, точно сверху и снизу расплавленное серебро. Рябит в глазах, и кружится голова. Здесь часты миражи, и я видел у берега несколько обманутых ими и разбившихся кораблей. Острова, крутые голые утесы, разбросанные там и сям, похожи на еще неведомых африканских чудовищ. Особенно один совсем лев, приготовившийся к прыжку, кажется, что видишь гриву и вытянутую морду. Эти острова необитаемы из-за отсутствия источников для питья. Подойдя к борту, можно видеть и воду, бледно-синюю, как глаза убийцы.<...>

Суэцкий канал

Стаи дней и ночей

Надо мной колдовали,

Но не знаю светлей,

Чем в Суэцком канале,

Где идут корабли

Не по морю, по лужам,

Посредине земли

Караваном верблюжьим.

Сколько птиц, сколько птиц

Здесь на каменных скатах,

Голубых небылиц,

Голенастых, зобатых!

Виден ящериц рой

Золотисто-зеленых,

Словно влаги морской

Стынут брызги на склонах.

Мы кидаем плоды

На ходу арапчатам,

Что сидят у воды,

Подражая пиратам.

Арапчата орут

Так задорно и звонко,

И шипит марабут

Нам проклятья вдогонку.

А когда на пески

Ночь, как коршун, посядет,

Задрожат огоньки

Впереди нас и сзади;

Те красней, чем коралл,

Эти зелены, сини...

Водяной карнавал



В африканской пустыне.

С отдаленных холмов,

Легким ветром гонимы,

Бедуинских костров

К нам доносятся дымы.

С обвалившихся стен

У изгибов канала

Слышен хохот гиен,

Завыванья шакала.

И в ответ пароход,

Звезды ночи печалы,

Спящей Африке шлет

Переливы рояля.

Из «Африканского дневника...»

Чтобы путешествовать по Абиссинии, необходимо иметь пропуск от правительства. Я телеграфировал об этом русскому поверенному в делах в Аддис-Абебу и получил ответ, что приказ выдать мне пропуск отправлен начальнику харрарской таможни нагадрасу Бистрати. Но нагадрас объявил, что он ничего не может сделать без разрешения своего начальника дедьязмача Тафари. К дедьязмачу следовало идти с подарком. Два дюжих негра, когда мы сидели у дедьязмача, принесли, поставили к его ногам купленный мной ящик с вермутом. Сделано это было по совету Калиль Галеба, который нас и представлял. Дворец дедьязмача большой двухэтажный деревянный дом с крашеной верандой, выходящей во внутренний, довольно грязный [двор]; дом напоминал не очень хорошую дачу, где-нибудь в Парголово или Териоках. На дворе толклось десятка два ашкеров, державшихся очень развязно. Мы поднялись по лестнице и после минутного ожидания на веранде вошли в большую устланную коврами комнату, где вся мебель состояла из нескольких стульев и бархатного кресла для дедьязмача. Дедьязмач поднялся нам навстречу и пожал нам руки. Он был одет в шаму, как все абиссинцы, но по его точеному лицу, окаймленному черной вьющейся бородкой, по большим полным достоинства газельим глазам и по всей манере держаться в нем сразу можно было угадать принца.

Абиссиния

Между берегом буйного Красного моря

И суданским таинственным лесом видна,

Разметавшись среди четырех плоскогорий,

С отдыхающей львицею схожа, страна.

Север – это болота без дна и без края,

Змеи черные подступы к ним стерегут,

Их сестер-лихорадок зловещая стая,

Желтолица, здесь обрела свой приют.

А над ними насупились мрачные горы,

Вековая обитель разбоя, Тигрэ,

Где оскалены бездны, взъерошены боры

И вершины стоят в снеговом серебре.

В плодоносной Амхаре и сеют и косят,

Зебры любят мешаться в домашний табун,

И под вечер прохладные ветры разносят

Звуки песен гортанных роко́та струн.  
Абисси́нец поет, и рыдает багана,  
Воскрешая минувшее, полное чар;  
Было время, когда перед озером Тана  
Королевской столицей взносился Гондар.  
Под платанами спорил о Боге ученый,  
Вдруг пленяя толпу благозвучным стихом,  
Живописцы писали царя Соломона  
Меж царицею Савской и ласковым львом.  
Но, поверив шаанской изысканной лести,  
Из старинной отчизны поэтов и роз  
Мудрый слон Абиссинии, негус Негести,  
В каменистую Шоа свой трон перенес.  
В Шоа воины хитры, жестоки и грубы,  
Курят трубки и пьют опьяняющий те́дш,  
Любят слушать они барабаны да трубы,  
Мазать маслом ружье да оттачивать меч.  
Харраритов, галла, сомали, данакилей,  
Людоедов и карликов в чаще лесов  
Своему Менелику они покори́ли,  
Устелили дворец его шкурами львов.  
И, смотря на потоки у горных подножий,  
На дубы и полдневных лучей торжество,  
Европеец дивится, как странно похожи  
Друг на друга народ и отчизна его.  
Колдовская страна! Ты на дне котловины  
Задыхаешься, льется огонь с высоты,  
Над тобою разносится крик ястребиный,  
Но в сияньи заметишь ли ястреба ты?  
Пальмы, кактусы, в рост человеческий травы,  
Слишком много здесь этой паленой травы...  
Осторожнее! В ней притаились удавы,  
Притаились пантеры и рыжие львы.  
По обрыва́м и кручам дорогой тяжелой  
Поднимись, и нежданно увидишь вокруг  
Сикоморы и розы, веселые села  
И зеленый, народом пестреющий луг.  
Там колдун совершает привычное чудо,

Тут, покорна напеву, танцует змея,  
Кто сто талеров взял за больного верблюда,  
Сев на камне в тени, разбирает судья.  
Поднимись ещё выше! Какая прохлада!  
Точно позднюю осень, пусты поля,  
На рассвете ручьи замерзают, и стадо  
Собирается кучей под кровлей жилья.  
Павианы рычат среди кустов молочая,  
Перепачкавшись в белом и липком соку,  
Мчатся всадники, длинные копья бросая,  
Из винтовок стреляя на полном скаку.  
Выше только утесы, нагие стремнины,  
Где кочуют ветра да ликуют орлы,  
Человек не взбирался туда, и вершины  
Под тропическим солнцем от снега белы.  
И повсюду, вверху и внизу, караваны  
Видят солнце и пьют неоглядный простор,  
Уходя в до сих пор неизвестные страны  
За слоновью костью и золотом гор.  
Как любил я бродить по таким же дорогам,  
Видеть вечером звезды, как крупный горох,  
Выбегать на холмы за козлом длиннорогим,  
На ночлег зарываться в седеющий мох!  
Есть музей этнографии в городе этом  
Над широкой, как Нил, многоводной Невой,  
В час, когда я устану быть только поэтом,  
Ничего не найду я желанней его.  
Я хожу туда трогать дикарские вещи,  
Что когда-то я сам издалека привез,  
Чують запах их странный, родной и зловещий,  
Запах ладана, шерсти звериной и роз.  
И я вижу, как знойное солнце пылает,  
Леопард, изогнувшись, ползет на врага  
И как в хижине дымной меня поджидает  
Для веселой охоты мой старый слуга.

Либерия

Берег Верхней Гвинеи богат

Медом, золотом, костью слоновой,

За оградю каменных гряд

Все пришьельцу нежданно и ново.

По болотам блуждают огни,

Черепаха грузнее утеса,

Клювоносы таятся в тени

Своего исполинского носа.

И когда в океан ввечеру

Погрузится небесное око,

Рыболовов из племени кру

Паруса забредают далеко.

И про каждого слава идет,

Что отважнее нет пред бедою,

Что одною рукой он спасет

И ограбит другою рукою.

В восемнадцатом веке сюда

Лишь за деревом черным, рабами

Из Америки плыли суда

Под распушенными парусами.

И сюда же на каменный скат

Пароходов тропа быстроходных

В девятнадцатом веке назад

Привезла не рабов, а свободных.

Видно, поняли нрав их земли

Вашингтонские старые девы,

Что такие плоды принесли

Благонравных брошюрок посева.

Адвокаты, доценты наук,

Пролетарии, пасторы, воры —

Все, что нужно в республике, — вдруг

Буйно хлынули в тихие горы.

Расселились... Тропический лес,

Утонувший в таинственном мраке,

В сонм своих бесконечных чудес

Принял дамские шляпы и фраки.

«Господин президент, ваш слуга!» —

Вы с поклоном промолвите быстро,

Но взгляните: черней сапога

Господин президент и министры.

«Вы сегодня бледней, чем всегда!» —

Позабывшись, вы скажете даме,

И что дама ответит тогда,

Догадайтесь, пожалуйста, сами.

То повиснув на тонкой лозе,

То запрятавшись в листьях узорных,

В темной чаще живут шимпанзе

По соседству от города черных.

По утрам, услышав с высоты

Протестантское пенье во храме,

Как в большой барабан, в животы

Ударяют они кулаками.

А когда загорятся огни,

Внемля фразам вечерних приветствий,

Тоже парами бродят они,

Вместо тросточек выломав ветви.

Европеец один уверял,

Президентом за что-то обижен,

Что большой шимпанзе потерял

Путь назад среди окраинных хижин.

Он не струсил и, пестрым платком

Скрыв стыдливо живот волосатый,

В президентский отправился дом,

Президент отлучился куда-то.

Там размахивал палкой своей,

Бил посуду, шатался, как пьяный,

И, не узнана целых пять дней,

Управляла страной обезьяна.

«Дорогой Миша, пишу уже из Харрара...»

Дорогой Миша, пишу уже из Харрара. Вчера сделал двенадцать часов (70 километров) на муле, сегодня мне предстоит ехать еще 8 часов (50 километров), чтобы найти леопарда... Здесь есть и львы и слоны, но они редки, как у нас лоси, и надо надеяться на свое счастье, чтобы найти их.

Я в ужасном виде: платье мое изорвано колючками мимоз, кожа обгорела и медно-красного цвета, левый глаз воспален от солнца, нога болит, потому что упавший на горном перевале мул придавил ее своим телом. Но я махнул рукой на все. Мне кажется, что мне снятся одновременно два сна, один неприятный и тяжелый для тела, другой восхитительный для глаз. Я стараюсь думать только о последнем и забываю о первом...

Экваториальный лес

Я поставил палатку на каменном склоне  
Абиссинских сбегающих к западу гор  
И беспечно смотрел, как пылают закаты  
Над зеленою крышей далеких лесов.  
Прилетали оттуда какие-то птицы  
С изумрудными перьями в длинных хвостах,  
По ночам выбегали веселые зебры,  
Мне был слышен их храп и удары копыт.  
И однажды закат был особенно красен,  
И особенный запах летел от лесов,  
И к палатке моей подошел европеец,  
Исхудалый, небритый, и есть попросил.  
Вплоть до ночи он ел неумело и жадно,  
Клал сардинки на мяса сухого ломоть,  
Как пилюли, проглатывал кубики магги  
И в абсент добавлять отказался воды.  
Я спросил, почему он так мертвенно бледен,  
Почему его руки сухие дрожат,  
Как листья... «Лихорадка великого леса», —  
Он ответил и с ужасом глянул назад.  
Я спросил про большую открытую рану,  
Что сквозь тряпки чернела на впалой груди,  
Что с ним было? «Горилла великого леса», —  
Он сказал и не смел оглянуться назад.  
Был с ним карлик, мне по пояс, голый и черный,  
Мне казалось, что он не умел говорить,  
Точно пес, он сидел за своим господином,  
Положив на колени бульдожье лицо.  
Но когда мой слуга подтолкнул его в шутку,  
Он оскалил ужасные зубы свои  
И потом целый день волновался и фыркал  
И раскрашенным дротиком бил по земле.  
Я постель предоставил усталому гостю,  
Лег на шкурах пантер, но не мог задремать,

Жадно слушая длинную, дикую повесть,  
Лихорадочный бред пришлеца из лесов.  
Он вздыхал: «Как темно... этот лес бесконечен...  
Не увидеть нам солнца уже никогда...  
Пьер, дневник у тебя? На груди под рубашкой?  
Лучше жизнь потерять нам, чем этот дневник!  
Почему нас покинули черные люди?  
Горе, компасы наши они унесли...  
Что нам делать? Не видно ни зверя, ни птицы,  
Только посвист и шорох вверху и внизу!  
Пьер, заметил костры? Там, наверное, люди...  
Неужели же мы наконец спасены?!Это карлики... сколько их, сколько собралось...  
Пьер, стреляй! На костре человеческая нога!  
В рукопашную! Помни, отравлены стрелы!  
Бей того, кто на пне... он кричит, он их вождь...  
Горе мне! на куски разлетелась винтовка...  
Ничего не могу... повалили меня...  
Нет, я жив, только связан... злодеи, злодеи,  
Отпустите меня, я не в силах смотреть!..  
Жарят Пьера... а мы с ним играли в Марселе,  
На утесе у моря играли детьми.  
Что ты хочешь, собака? Ты встал на колени?  
Я плюю на тебя, омерзительный зверь!  
Но ты лижешь мне руки? Ты рвешь мои путы?  
Да, я понял, ты богом считаешь меня...  
Ну, бежим! Не бери человеческого мяса,  
Всемогущие боги его не едят...  
Лес... о лес бесконечный... я голоден, Акка,  
Излови, если можешь, большую змею!»  
Он стонал и хрипел, он хватался за сердце  
И наутро, почудилось мне, задремал;  
Но когда я его разбудить попытался,  
Я увидел, что мухи ползли по глазам.  
Я его закопал у подножия пальмы,  
Крест поставил над грудой тяжелых камней  
И простые слова написал на дощечке:  
«Христианин зарыт здесь, молитесь о нем».

Карлик, чистя свой дротик, смотрел равнодушно,

Но когда я закончил печальный обряд,

Он вскочил и, не крикнув, помчался по склону,

Как олень, убегая в родные леса.

Через год я прочел во французских газетах,

Я прочел и печально поник головой:

– Из большой экспедиции к Верхнему Конго

До сих пор ни один не вернулся назад.

Дагомея

Царь сказал своему полководцу: «Могучий,

Ты высок, точно слон дагомейских лесов,

Но ты все-таки ниже торжественной кучи

Отсеченных тобой человеческих голов.

И как доблесть твоя, о испытанный воин,

Так и милость моя не имеет конца.

Видишь солнце над морем? Ступай! ты достоин

Быть слугой моего золотого отца».

Барабаны забили, защелкали бубны,

Преклоненные люди завыли вокруг,

Амазонки запели протяжно, и трубный

Прокатился по морю от берега звук.

Полководец царю поклонился в молчаньи

И с утеса в бурливую воду прыгнул,

И тонул он в воде, а казалось в сияньи

Золотого закатного солнца тонул.

Оглушали его барабаны и клики,

Ослепляли соленые брызги волны,

Он исчез. И блистало лицо увладыки,

Точно черное солнце подземной страны.

Нигер

Я на карте моей под ненужною сеткой

Сочиненных для скуки долгот и широт

Замечаю, как что-то чернеющей веткой,

Виноградной оброненной веткой ползет.

А вокруг города, точно горсть виноградин,

Это – Бусса, и Гомба, и царь Тимбукту.

Самый звук этих слов мне, как солнце, отраден,



Точно бой барабанов, он будит мечту.

Но не верю, не верю я, справлюсь по книге.

Ведь должна же граница и тупости быть!

Да, написано Нигер... О царственный Нигер,

Вот как люди посмели тебя оскорбить!

Ты торжественным морем течешь по Судану,

Ты сражаешься с хищною стаей песков,

И когда приближаешься ты к океану,

С середины твоей не видать берегов.

Бегемотов твоих розоватые рыла

Точно сваи незримого чудо-моста,

И винты пароходов твои крокодилы

Разбивают могучим ударом хвоста.

Я тебе, о мой Нигер, готовлю другую,

Небывалую карту, отраду для глаз,

Я широкою лентой парчу золотую

Положу на зеленый и нежный атлас.

Снизу слева кровавые лягут рубины,

Это край металлических странных богов.

Кто зарыл их в угрюмых ущельях Бенины

Меж слоновьих клыков и людских черепов?

Дальше справа, где рощи густые Сокото,

На атлас положу я большой изумруд.

Здесь богаты деревни, привольна охота,

Здесь свободные люди, как птицы, поэт.

Дальше бледный опал, прихотливо мерцая,

Затаенным в нем красным и синим огнем,

Мне так сладко напомнит равнины Сонгаи

И султана сонгайского глиняный дом.

И жемчужиной дивной, конечно, означен

Будет город сияющих крыш, Тимбукту,

Над которым и коршун кричит, озадачен,

Видя в сердце пустыни мимозы в цвету,

Видя девушек смуглых и гибких, как лозы,

Чье дыханье пьяней бальзамических смол,

И фонтаны в садах, и кровавые розы,

Что венчают вождей поэтических школ.

Сердце Африки пенья полно и пыланья,

И я знаю, что, если мы видим порой  
Сны, которым найти не умеем названья,  
Это ветер приносит их, Африка, твой!

Абиссинские песни

## 1. ВОЕННАЯ

Носороги топчут наше дурро,  
Обезьяны обрывают смоквы,  
Хуже обезьян и носорогов  
Белые бродяги итальянцы.  
Первый флаг забился над Харраром,  
Это город раса Маконена,  
Вслед за ним проснулся древний Аксум  
И в Тигрэ заухали гиены.

По лесам, горам и плоскогорьям  
Бегают свирепые убийцы,  
Вы, перерывающие горло,  
Свежей крови вы напьетесь нынче.  
От куста к кусту переползайте,  
Как ползут к своей добыче змеи,  
Прыгайте стремительно с утесов —  
Вас прыжкам учили леопарды.  
Кто добудет в битве больше ружей,  
Кто зарежет больше итальянцев,  
Люди назовут того ашкером  
Самой белой лошади негуса.

## 2. НЕВОЛЬНИЧЬЯ

По утрам просыпаются птицы,  
Выбегают в поле газели  
И выходит из шатра европеец,  
Размахивая длинным бичом.  
Он садится под тенью пальмы,  
Обвернув лицо зеленой вуалью,  
Ставит рядом с собой бутылку виски  
И хлещет лентящихся рабов.  
Мы должны чистить его вещи,  
Мы должны стеречь его мулов,  
А вечером есть солонину,

Которая испортилась днем.

Слава нашему хозяину европейцу,  
У него такие дальнобойные ружья,  
У него такая острая сабля  
И так больно хлещущий бич!

Слава нашему хозяину европейцу,  
Он храбр, но он недогадлив,  
У него такое нежное тело,  
Его сладко будет пронзить ножом!

Замбези

Точно медь в самородном железе,  
Иглы пламени врезаны в ночь,  
Набухают валы на Замбези  
И уносятся с гиканьем прочь.

Сквозь неистовство молнии белой  
Что-то видно над влажной скалой,  
Там могучее черное тело  
Налегло на топор боевой.

Раздается гортанное пенье.

Шар земной облетающих муз  
Непреложны повсюду веленья!..

Он поет, этот воин-зулус.

«Я дремал в заповедном краале

И услышал рычание льва,

Сердце сжалось от сладкой печали,

Закружилась моя голова.

Меч метнулся мне в руку, сверкая,

Распахнулась таинственно дверь,

И лежал предо мной, издыхая,

Золотой и рыкающий зверь.

И запели мне духи тумана:

«Твой навек да прославится гнев!

Ты достойный потомок Дингана,

Разрушитель, убийца и лев!» —

С той поры я всегда наготове,

По ночам мне не хочется спать,

Много, много мне надобно крови,

Чтобы жажду мою утолять.

За большими, как тучи, горами,  
По болотам близ устья реки  
Я арабам, торговцам рабами,  
Выпускал ассагаем кишки.  
И спускался я к бурам в равнины  
Принести на просторы лесов  
Восемь ран, украшений мужчины,  
И одиннадцать вражьих голов.  
Тридцать лет я по лесу блуждаю,  
Не боюсь ни людей, ни огня,  
Ни богов... но что знаю, то знаю:  
Есть один, кто сильнее меня.  
Это слон в неизведанных чащах,  
Он, как я, одинок и велик  
И вонзает во всех проходящих  
Пожелтевший изломанный клык.  
Я мечтаю о нем беспрестанно,  
Я всегда его вижу во сне,  
Потому что мне духи тумана  
Рассказали об этом слоне.  
С ним борьба для меня бесполезна,  
Сердце знает, что буду убит,  
Распахнется небесная бездна  
И Динган, мой отец, закричит:  
«Да, ты не был трусливой собакой,  
Львом ты был между яростных львов,  
Так садись между мною и Чакой  
На скамье из людских черепов!»  
Мадагаскар  
Сердце билось, смертно тоскуя,  
Целый день я бродил в тоске,  
И мне снилось ночью: плыву я  
По какой-то большой реке.  
С каждым мигом все шире, шире  
И светлей, и светлей река,  
Я в совсем неведомом мире,  
И ладья моя так легка.

Красный идол на белом камне  
Мне поведал разгадку чар,  
Красный идол на белом камне  
Громко крикнул: «Мадагаскар!»  
В раззолоченных паланкинах,  
В дивно-вырезанных ладьях,  
На широких воловьих спинах  
И на звонко ржущих конях,  
Там, где пели и трепетали  
Легких тысячи лебедей,  
Друг за другом вслед выступали  
Смуглолицых толпы людей.  
И о том, как руки принцессы  
Домогался старый жених,  
Сочиняли смешные пьесы  
И сейчас же играли их.  
А в роскошной форме гусарской  
Благосклонно на них взирал  
Королевы мадагаскарской  
Самый преданный генерал.  
Между них быки Томатавы,  
Схожи с грудой темных камней,  
Пожирали жирные травы  
Благовоньем полных полей.  
И вздыхал я, зачем плыву я,  
Не останусь я здесь зачем:  
Неужель и здесь не спою я  
Самых лучших моих поэм?  
Только голос мой был не слышен,  
И никто мне не мог помочь,  
А на крыльях летучей мыши  
Опускалась теплая ночь.  
Небеса и лес потемнели,  
Смолкли лебеди в забытьи...  
...Я лежал на моей постели  
И грустил о моей ладье.  
«Из Африканского дневника...»

Мы бросили якорь перед Джеддой, куда нас не пустили, так как там была чума. Я не знаю ничего красивее ярко-зеленых мелей Джедды,

окаймляемых чуть розовой пеной. Не в честь ли их и хаджи– мусульмане, бывавшие в Мекке, носят зеленые чалмы.

Пока агент компании приготавливал разные бумаги, старший помощник капитана решил заняться ловлей акулы. Громадный крюк с десятью фунтами гнилого мяса, привязанный к крепкому канату, служил удочкой, поплавок изображало бревно. Три с лишком часа длилось напряженное ожиданье.

То акул совсем не было видно, то они проплывали так далеко, что их лоцманы не могли заметить приманки.

Акула крайне близорука, и ее всегда сопровождают две хорошенькие небольшие рыбки, которые и наводят ее на добычу. Наконец в воде появилась темная тень сажени в полторы длиною, и поплавок, завертевшись несколько раз, нырнул в воду. Мы дернули за веревку, но вытащили лишь крючок. Акула только кусала приманку, но не проглотила ее. Теперь, видимо огорченная исчезновением аппетитно пахнущего мяса, она плавала кругами почти на поверхности и всплескивала хвостом по воде. Сконфуженные лоцманы носились туда и сюда. Мы поспешили забросить крючок обратно. Акула бросилась к нему, уже не стесняясь. Канат сразу натянулся, угрожая лопнуть, потом ослаб, и над водой показалась круглая лоснящаяся голова с маленькими злыми глазами. Десять матросов с усилиями тащили канат. Акула бешено вертелась, и слышно было, как она ударяла хвостом о борт корабля. Помощник капитана, перегнувшись через борт, разом выпустил в нее пять пуль из револьвера. Она вздрогнула и немного стихла. Пять черных дыр показались на ее голове и беловатых губах. Еще усилие, и ее подтянули к самому борту. Кто-то тронул ее за голову, и она щелкнула зубами. Видно было, что она еще совсем свежа и собирается с силами для решительной битвы. Тогда, привязав нож к длинной палке, помощник капитана сильным и ловким ударом вонзил его ей в грудь и, натужившись, довел разрез до хвоста. Полилась вода, смешанная с кровью, розовая селезенка аршина в два величиною, губчатая печень и кишки вывалились и закачались в воде, как странной формы медузы. Акула сразу сделалась легче, и ее без труда вытащили на палубу. Корабельный кок, вооружившись топором, стал рубить ей голову. Кто-то вытащил сердце и бросил его на пол. Оно пульсировало, двигаясь то туда, то сюда лягушечьими прыжками. В воздухе стоял запах крови.

МИК. Африканская поэма

I

Сквозь голубую темноту

Неслышно от куста к кусту

Переползая, словно змей,

Среди трясин, среди камней

Свирепых воинов отряд

Идет – по десятеро в ряд.

Мех леопарда на плечах,

Меч на боку, ружье в руках, —

То абиссинцы; вся страна

Их негусу покорена,

И только племя гурабе

Своей противится судьбе,

Сто жалких деревянных пик, —

И рассердился Менелик.

Взошла луна, деревня спит,

Сам Дух Лесов ее хранит.

За всем следит он в тишине,

Верхом на огненном слоне:

Чтоб Аурарис-носорог

Напасть на спящего не мог,

Чтоб бегемота Гумаре  
Не окружили на заре  
И чтобы Азо-крокодил  
От озера не отходил.  
То благосклонен, то суров,  
За хвост он треплет рыжих львов.  
Но, видно, и ему невмочь  
Спасти деревню в эту ночь!  
Как стая бешеных волков,  
Враги пустились... Страшный рев  
Раздался, и в ответ ему  
Крик ужаса прорезал тьму.  
Отважно племя гурабе,  
Давно приучено к борьбе,  
Но бой ночной – как бег в мешке,  
Копье не держится в руке,  
Они захвачены врасплох,  
И слаб их деревянный бог.  
Но вот нежданная заря  
Взошла над хижинной царя.  
Он сам, вспугнув ночную соню,  
Зажег губительный огонь  
И вышел, страшный и нагой,  
Маша дубиной боевой.  
Раздуты ноздри, взор горит,  
И в грудь, широкую как щит,  
Он ударяет кулаком...  
Кто выйдет в бой с таким врагом?  
Смутились абиссинцы – но  
Вдруг выступил Ато-Гано,  
Начальник их. Он был старик,  
В собраньях вежлив, в битве дик,  
На все опасные дела  
Глядевший взорами орла.  
Он крикнул: «Э, да ты не трус!  
Все прочь, – я за него возьмусь».  
Дубину поднял негр; старик

Увертливый к земле приник,  
Пустил копье, успел скакнуть  
Всей тяжестью ему на грудь,  
И, оглушенный, сделал враг  
Всего один неловкий шаг,  
Упал – и грудь его рассек  
С усмешкой старый человек.  
Шептались воины потом,  
Что под сверкающим ножом  
Как будто огненный язык  
Вдруг из груди его возник  
И скрылся в небе, словно пух.  
То улетал могучий дух,  
Чтоб стать бродячею звездой,  
Огнем болотным в тьме сырой  
Или поблескивать едва  
В глазах пантеры или льва.  
Но был разгневан Дух Лесов  
Огнем и шумом голосов  
И крови запахом – он встал,  
Подумал и загрохотал:  
«Эй, носороги, эй, слоны,  
И все, что злобны и сильны,  
От пастбища и от пруда  
Спешите, буйные, сюда,  
Ого-го-го, ого-го-го!  
Да не щадите никого».  
И словно ожил темный лес  
Ордой страшилищ и чудес;  
Неслись из дальней стороны  
Освирепелые слоны,  
Открыв травой набитый рот,  
Скакал, как лошадь, бегемот,  
И зверь, чудовищный на взгляд,  
С кошачьей мордой, а рогат —  
За ними. Я мечту таю,  
Что я его еще убью  
И, к удивлению друзей,



Врагам на зависть, принесу

В зоологический музей

Его пустынную красу.

«Ну, ну, – сказал Ато-Гано, —

Здесь и пропасть немудрено,

Берите пленных – и домой!»

И войско бросилось гурьбой.

У трупа мертвого вождя

Гано споткнулся, уходя,

На мальчугана лет семи,

Забытого его людьми.

«Ты кто?» – старик его спросил,

Но тот за палец укусил

Гано. «Ну, верно, сын царя», —

Подумал воин, говоря:

«Тебя с собою я возьму,

Ты будешь жить в моем доме».

И лишь потом узнал старик,

Что пленный мальчик звался Мик.

II

В Аддис-Абебе праздник был,

Гано подарок получил,

И, возвратясь из царских зал,

Он Мику весело сказал:

«Сняв голову, по волосам

Не плачут. Вот теперь твой дом;

Служи и вспоминай, что сам

Авто-Георгис был рабом».

Прошло три года. Служит Мик,

Хоть он и слаб, и невелик.

То подметает задний двор,

То чинит прорванный шатер,

А поздно вечером к костру

Идет готовить инджиру

И, получая свой кусок,

Спешит в укромный уголок,

А то ведь сглазят, на беду,

Его любимую еду.

Порою от насмешек слуг

Он убегал на ближний луг,

Где жил, привязан на аркан,

Большой косматый павиан.

В глухих горах Ато-Гано

Его поймал не так давно

И ради прихоти привез

В Аддис-Абебу, город роз.

Он никого не подпускал,

Зубами щелкал и рычал,

И слуги думали, что вот

Он ослабеет и умрет.

Но злейшая его беда

Собаки были, те всегда

Сбегались лаять перед ним,

И, дикой яростью томим,

Он поднимался на дыбы,

Рыл землю и кусал столбы.

Лишь Мик, вооружась кнутом,

Собачий прекращал содом.

Он приносил ему плоды

И в тыкке срезанной воды,

Покуда пленник не привык,

Что перед ним проходит Мик.

И наконец они сошлись:

Порой, глаза уставя вниз,

Обнявшись и рука в руке,

На обезьяньем языке

Они делились меж собой

Мечтами о стране иной,

Где обезьяньи города,

Где не дерутся никогда,

Где каждый счастлив, каждый сыт,

Играет вволю, вволю спит.

И клялся старый павиан

Седою гривой своей,

Что есть цари у всех зверей

И только нет у обезьян.

Царь львов – лев белый и слепой,

Венчан короной золотой,

Живет в пустыне Сомали,

Далеко на краю земли.

Слоновый царь – он видит сны

И, просыпаясь, говорит,

Как поступать должны слоны,

Какая гибель им грозит.

Царица зебр – волшебней сна,

Скача, поспорит с ветерком.

Давно помолвлена она

Со страусовым королем.

Но по пустыням говорят,

Есть зверь сильнее и выше всех,

Как кровь рога его горят

И лоснится кошачий мех.

Он мог бы первым быть царем,

Но он не думает о том,

И если кто его встречал,

Тот быстро чах и умирал.

Заслушиваясь друга, Мик

От службы у людей отвык,

И слуги видели, что он

Вдруг стал ленив и несмышлен.

Узнав о том, Ато-Гано

Его послал толочь пшено,

А это труд – для женщин труд,

Мужчины все его бегут.

Была довольна дворня вся,

Наказанного понося,

И даже девочки, смеясь,

В него бросали сор и грязь,

Уже был темен небосклон,

Когда работу кончил он

И, от досады сам не свой,

Не подкрепившись инджирой,

Всю ночь у друга своего

Провел с нахмуренным лицом

И плакал на груди его

Мохнатой, пахнувшей козлом.

Когда же месяц за утес

Спустился, дивно просияв,

И ветер утренний донес

К ним благовонье диких трав,

И павиан, и человек

Вдвоем замыслили побег.

III

Давно французский консул звал

Любимца негуса, Гано,

Почтить большой посольский зал,

Испробовать его вино,

И наконец собрался тот

С трудом, как будто шел в поход.

Был мул белей, чем полотно,

Был в красной мантии Гано,

Прощенный Мик бежал за ним

С ружьем бельгийским дорогим,

И крики звонкие неслись:

«Прочь все с дороги! Сторонись!»

Гано у консула сидит,

Приветно смотрит, важно льстит,

И консул, чтоб дивился он,

Пред ним заводит граммофон,

Игрушечный аэроплан

Порхает с кресла на диван,

И электрический звонок

Звонит, не тронутый никем.

Гано спокойно тянет грог,

Любезно восхищаясь всем,

И громко шепчет: «Ой ю гут!

Ой френджи, все они поймут».

А в это время Мик, в саду

Держащий мула за узду,

Не налюбуется никак

Ни на диковинных собак,

Ни на сидящих у дверей

Крылатых каменных зверей.

Как вдруг он видит, что идет

Какой-то мальчик из ворот,

И обруч, словно колесо,

Он катит для игры в серсо.

И сам он бел, и бел наряд,

Он весел, словно стрекоза,

И светлым пламенем горят

Большие смелые глаза.

Пред Миком белый мальчик стал,

Прищурился и засвистал:

«Ты кто?» – «Я абиссинский раб». —

«Ты любишь драться?» – «Нет, я слаб».

– «Отец мой консул». – «Мой вождем Был».

– «Где же он?» – «Убит врагом». —

«Меня зовут Луи». – «А я

Был прозван Миком». – «Мы друзья».

И Мик, разнежась, рассказал

Про павиана своего,

Что с ним давно б он убежал

И не настигли бы его,

Когда б он только мог стянуть

Кремень, еды какой-нибудь,

Топор иль просто крепкий нож —

Без них в пустыне пропадешь.

А там охотой можно жить,

Никто его не будет бить,

Иль стать царем у обезьян,

Как обещался павиан.

Луи промолвил: «Хорошо,

Дитя, что я тебя нашел!

Мне скоро минет десять лет,

И не был я еще царем.

Я захвачу мой пистолет,

И мы отправимся втроем.

Смотри: за эту горой  
Дождитесь в третью ночь меня;  
Не пропадете вы со мной  
Ни без еды, ни без огня».  
Он важно сдвинул брови; вдруг  
Пронесся золотистый жук,  
И мальчик бросился за ним,  
А Мик остался недвижим.  
Он был смущен и удивлен,  
Он думал: «Это, верно, сон...» —  
В то время как лукавый мул  
Жасмин и розы с клумб тянул.  
Доволен, пьян, скача домой,  
Гано болтал с самим собой:  
«Ой френджи! Как они ловки  
На выдумки и пустяки!  
Запрятать в ящик крикуна,  
Чтоб говорил он там со дна,  
Им любо! Но зато в бою,  
Я ставлю голову свою,  
Не победит никто из них  
Нас, бедных, глупых и слепых.  
Не обезьяны мы, и нам  
Не нужен разный детский хлам».  
А Мик в мечтаньях о Луи,  
Шаги не рассчитав свои,  
Чуть не сорвался с высоты  
В переплетенные кусты.  
Угрюмо слушал павиан  
О мальчике из дальних стран,  
Что хочет, свой покинув дом,  
Стать обезьяньим королем.  
Звериным сердцем чуял он,  
Что в этом мире есть закон,  
Которым каждому дано  
Изведать что-нибудь одно:  
Тем — жизнь среди городских забав,  
Тем — запахи пустынных трав.

Но долго спорить он не стал,  
Вздыхнул, под мышкой почесал  
И пробурчал, хлебнув воды:  
«Смотри, чтоб не было беды!»

IV  
Луна склонялась, но чуть-чуть,  
Когда они пустились в путь  
Через канавы и бурьян, —  
Луи, и Мик, и павиан.  
Луи смеялся и шутил,  
Мешок с мукою Мик тащил,  
А павиан среди камней  
Давил тарантулов и змей.

Они бежали до утра,  
А на день спрятались в кустах,  
И хороша была нора  
В благоухающих цветах.  
Они боялись – их найдут.

Кругом сновал веселый люд:  
Рабы, сановники, купцы,  
С большими лютнями певцы,  
Послы из дальней стороны  
И в пестрых тряпках колдуны.

Поклонник дьявола порой  
С опущенною головой  
Спешил в нагорный Анкобер,  
Где в самой темной из пещер  
Живет священная змея,  
Земного матерь бытия.

Однажды утром, запоздав,  
Они не спрятались средь трав,  
И встретил маленький отряд  
Огромный и рябой солдат...  
Он Мика за руку схватил,  
Ременным поясом скрутил.  
«Мне улыбается судьба,  
Поймал я беглого раба! —

Кричал. — И деньги, и еду

За это всюду я найду».

Заплакал Мик, а павиан

Рычал, запрятавшись в бурьян.

Но, страшно побледнев, Луи

Вдруг поднял кулаки свои

И прыгнул бешено вперед:

«Пусти, болван, пусти, урод!

Я — белый, из моей земли

Придут большие корабли

И с ними тысячи солдат...

Пусти иль будешь сам не рад!» —

«Ну, ну, — ответил, струсив, плут, —

дите с Богом, что уж тут».

И в вечер этого же дня,

Куда-то скрывшись, павиан

Вдруг возвратился к ним, стеня,

Ужасным горем обуян;

Он бил себя в лицо и грудь,

От слез не мог передохнуть

И лишь катался по песку,

Стараясь заглушить тоску.

Увидя это, добрый Мик

Упал и тоже поднял крик

Такой, что маленький шакал

Его за милю услышал.

И порешил, пускаясь в путь:

«Наверно, умер кто-нибудь».

Луи, не зная их беды,

К ручью нагнулся поскорей

И, шляпой зачерпнув воды,

Плеснул на воющих друзей.

И павиан, прервав содом,

Утершись, тихо затынул:

«За этою горой есть дом,

И в нем живет мой сын в плену.

Я видел, как он грыз орех,

В сторонке сидя ото всех.



Его я шепотом позвал,  
Меня узнал он, завизжал,  
И разлучил нас злой старик,  
С лопатой выскочив на крик.  
Его немислимо украсть,  
Там псы могучи и хитры,  
И думать нечего напасть —  
Там ружья, копья, топоры».  
Луи воскликнул: «Ну, смотри!  
Верну я сына твоего;  
Но только выберешь в цари  
У вас меня ты одного».  
Он принял самый важный вид,  
Пошел на двор и говорит:  
«Я покупаю обезьян.  
У вас есть крошка павиан —  
Продайте!» — «Я не продаю», —  
Старик в ответ. «А я даю  
Вам десять талеров». — «Ой! ой!  
Да столько стоит бык большой.  
Бери». И вот Луи понес  
Виновника столь горьких слез.  
Над сыном радостный отец  
Скакал, как мячик; наконец  
Рванул его за хвост, любя.  
«Что, очень мучили тебя?» —  
«Я никаких не видел мук.  
Хозяин мой — мой первый друг!  
Я ем медовые блины,  
Катаю обруч и пляшу,  
Мне сшили красные штаны,  
Я их по праздникам ношу».  
И рявкнул старый павиан:  
«Ну, если это не обман,  
Тебе здесь нечего торчать!  
Вернись к хозяину опять.  
Стремись науки все пройти:

Грубить, считать до десяти...

Когда ж умнее станешь всех,

Тогда и убежать не грех!»

V

Луны уж не было, и высь

Как низкий потолок была,

Но звезды крупные зажглись —

И стала вдруг она светла,

Переливалась... А внизу

Стеклянный воздух ждал грозу.

И слышат путники вдали

Удары бубна, гул земли.

И видят путники: растет

Во мгле сомнительный восход.

Пятьсот огромных негров в ряд

Горящие стволы влачат.

Другие пляшут и поют,

Трубят в рога и в бубны бьют,

А на носилках из парчи

Царевна смотрит и молчит.

То дочка Мохамед-Али,

Купца из Йеменской земли,

Которого нельзя не знать,

Так важен он, богат и стар,

Наряды едет покупать

Из Дире-Дауа в Харрар.

В арабских сказках принца нет,

Калифа, чтобы ей сказать:

«Моя жемчужина, мой свет,

Позвольте мне вам жизнь отдать!»

В арабских сказках гурий нет,

Чтоб с этой девушкой сравнять.

Она увидела Луи

И руки подняла свои.

Прозрачен, тонок и высок,

Запел как флейта голосок:

«О милый мальчик, как ты бел,

Как стан твой прям,

Как взор твой смел!

Пойдем со мной.

В моих садах

Есть много желтых черепах,

И попугаев голубых,

И яблок, соком налитых.

Мы будем целый день-деньской

Играть, кормить послушных серн

И бегать взапуски с тобой

Вокруг фонтанов и цистерн.

Идем». Но, мрачный словно ночь,

Луи внимал ей, побледнев,

И не старался превозмочь

Свое презрение и гнев:

«Мне – слушать сказки, быть пажом,

Когда я буду королем,

Когда бесчисленный народ

Меня им властвовать зовет?

Но если б и решился я,

С тобою стало б скучно мне:

Ты не стреляешь из ружья,

Боишься ездить на коне»?

Печальный, долгий, кроткий взор

Царевна подняла в упор

На гордого Луи – и вдруг,

Вдруг прыснула... И все вокруг

Захотали. Словно гром

Раздался в воздухе ночном:

Ведь хохотали все пятьсот

Огромных негров, восемьсот

Рабов, и тридцать поваров,

И девятнадцать конюхов.

Но подала царевна знак,

Все выстроились кое-как

И снова двинулись вперед,

Держась от смеха за живот.

Когда же скрылся караван,

Тоскуя, Мик заговорил:

«Не надо мне волшебных стран,

Когда б рабом ее я был.

Она, поклясться я готов, —

Дочь Духа доброго Лесов,

Живет в немыслимом саду,

В дворце, похожем на звезду.

И никогда, и никогда

Мне, Мику, не войти туда».

Луи воскликнул: «Ну, не трусь,

Войдешь, как я на ней женюсь».

VI

Еще три дня, и их глазам

Предстал, как первобытный храм,

Скалистый и крутой отвес,

Поросший редкою сосной,

Вершиной вставший до небес,

Упершийся в дремучий лес

Своею каменной пятой.

То был совсем особый мир:

Чернели сотни круглых дыр,

Соединяясь меж собой

Одною узкою тропой;

И как балконы, здесь и там

Площадки с глиной по краям

Висели, и из всех бойниц

Торчали сотни страшных лиц.

Я, и ложась навеки в гроб,

Осмелился бы утверждать,

Что это был ни дать ни взять

Американский небоскреб.

В восторге крикнул павиан,

Что это город обезьян.

По каменистому хребту

Они взошли на высоту.

Мик тихо хныкал, он устал,

Луи же голову ломал,

Как пред собой он соберет

На сходку ветреный народ.

Но павиан решил вопрос:

Обезьяненка он принес

И начал хвост ему щипать,

А тот – визжать и верещать;

Таков обычай был, и вмиг

Все стадо собралось на крик.

И начал старый павиан:

«О племя вольных обезьян,

Из плена к вам вернулся я,

Со мной пришли мои друзья,

Освободители мои,

Чтоб тот, кого мы изберем,

Стал обезьяньим королем...

Давайте изберем Луи».

Он, кончив, важно замолчал.

Луи привстал, и Мик привстал,

Кругом разлился страшный рев,

Гул многих сотен голосов:

«Мы своего хотим царем!» —

«Нет, лучше Микаизберем!» —

«Луи!» — «Нет, Мика!» — «Нет, Луи!»

Все, зубы белые свои

Оскалив, злятся... Наконец

Решил какой-то молодец:

«Луи с ружьем, он – чародей...

К тому ж он белый и смешней».

Луи тотчас же повели

На холмик высохшей земли,

Надев на голову ему

Из трав сплетенную чалму

И в руки дав слоновый клык,

Знак отличительный владык.

И, мир преображая в сад

Алеющий и золотой,

Горел и искрился закат

За белокурой головой.

Как ангел мил, как демон горд,

Луи стоял один средь морд

Клыкастых и мохнатых рук,

К нему протянутых вокруг.

Для счастья полного его

Недоставало одного:

Чтобы сестра, отец и мать

Его могли здесь увидеть

Хоть силою волшебных чар

И в «Вокруг света» обо всем

Поведал мальчикам потом

Его любимый Буссенар.

VII

Луи суровым был царем.

Он не заботился о том,

Что есть, где пить, как лучше спать,

А все собирался воевать;

Хотел идти, собрав отряд,

Отнять у злобной львицы львят

Иль крокодила из реки

Загнать в густые тростники,

Но ни за что его народ

Не соглашался на поход,

И огорченный властелин

Бродил печален и один.

Спускался он на дно пещер,

Где сумрак ядовит и сер

И где увидеть вы могли б

В воде озер безглазых рыб.

Он поднимался на утес,

Собой венчавший весь откос,

И там следил, как облака

Ваяет Божия рука.

Но лишь тогда бывал он рад,

Когда смотрел на водопад,

Столбами пены ледяной

Дробящийся над крутизной.

К нему тропа, где вечно мгла,

В колючих зарослях вела,  
И мальчик знал, что неспроста  
Там тишина и темнота  
И даже птицы не поют,  
Чтоб оживить глухой приют.  
Там раз в столетие трава,  
Шурша, скрывается, как дверь.  
С рогами серны, с мордой льва  
Приходит пить какой-то зверь.  
Кто знает, где он был сто лет  
И почему так стонет он  
И замечает лапой след,  
Хоть только ночь со всех сторон,  
Да, только ночь, черна как смоль,  
И страх, и буйная вода,  
И в стогах раненого боль,  
Не гаснущая никогда...  
Но все наскучило Луи —  
Откос, шумящие струи,  
Забавы резвых обезьян  
И даже Мик и павиан.  
Сдружился он теперь с одной  
Гиеной старой и хромой,  
Что кралась по ночам на скат,  
Чтоб воровать обезьянят.  
Глазами хитрыми змеи  
Она смотрела на Луи  
И заводила каждый раз  
Лукавый, льстивый свой рассказ:  
Он, верно, слышал, что внизу,  
В большом тропическом лесу,  
Живут пантеры? Вот к кому  
Спуститься надо бы ему!  
Они могучи и смелы,  
Бросаются быстрее стрелы,  
И так красив их пестрый мех,  
Что им простится всякий грех.

Напрасно друга Мик молил,  
Глухим предчувствием томим,  
Чтоб он навек остался с ним  
И никуда не уходил.  
Луи, решителен и быстр,  
Сказал: «Ты только мой министр!  
Тебе я власть передаю,  
И скипетр, и чалму мою,  
И мой просторный царский дом,  
А сам я буду королем  
Не этих нищенских пещер,  
А леопардов и пантер».  
Ушел. И огорчился стан  
Всегда веселых обезьян.  
Они влезали на карниз,  
Внимательно смотрели вниз.  
Оттуда доносился рев  
Им незнакомых голосов,  
И горько плакали они,  
Минувшие припомнив дни  
И грустно думая о том,  
Что случилось с гневным их царем.

VIII

Едва под утро Мик уснул.  
Во сне он слышал страшный гул,  
Он видел мертвого отца,  
И лился пот с его лица.  
Проснулся... Старый павиан  
Собрал храбрейших обезьян.  
Они спускаться стали вниз,  
Держась за ветви, за карниз;  
Переплетя свои хвосты,  
Над бездной строили мосты,  
Пока пред ними дикий лес  
Не встал, а город не исчез  
И не мелькнули среди стволов  
Клыки и хоботы слонов.  
Долина им была видна,



Деревьями окружена,  
И посреди большой утес,  
Что мхом и травами оброс.  
На нем один лежал Луи  
И раны зажимал свои.  
Вперив в пространство мутный взор,  
Чуть поднимал он свой топор,  
А восемь яростных пантер  
Пред ним кружились; из пещер  
Еще спешили... Отражал  
Всю ночь их мальчик и устал.  
Как град камней, в траву полян  
Сорвалась стая обезьян,  
И силою живой волны  
Пантеры были сметены  
И отступили... С плачем Мик  
К груди товарища приник.  
Луи в бреду ему шептал,  
Что он царем и здесь бы стал,  
Когда б не гири на ногах,  
Не красный свет в его глазах  
И не томящий долгий звон...  
И незаметно умер он.  
Тогда, хромяя, из кустов  
Гиена выбежала; рев  
Раздался, яростен и груб:  
«Он мой! Скорей отдайте труп!»  
Смутилась стая обезьян,  
Но прыгнул старый павиан  
С утеса на гиену вниз  
И горло мерзкой перегрыз.  
Где пальмы веером своим  
Кивают облакам седым,  
Где бархатный ковер лугов  
Горит, весь алый от цветов,  
И где журчит, звенит родник,  
Зарыл Луи печальный Мик.

Там ласточки с огнем в глазах

Щебечут, милые, в ветвях.

Они явились издали,

Из франкской, может быть, земли,

И щебетали свой привет

Перед готическим окном,

Где увидал впервые свет

Луи в жилище родовом.

И над могилой друга Мик Запел:

«Луи, ты был велик,

Была сильна твоя рука,

Белее зубы молока!

Зачем, зачем, зачем в бою

Зачем, зачем, когда ты пал,

Ты павиана не позвал?

Уж лучше б пуля иль копье

Дыханье вырвали твоё!

Не помирись ты с врагом...

Все это кажется мне сном!»

Завыл печальный павиан,

Завыла стая обезьян,

И вот на шум их голосов,

Горя как месяц в вышине,

Явился мощный Дух Лесов

Верхом на огненном слоне,

Остановился, и взглянул,

И грозно крикнул Мику: «Ну?»

Когда ж узнал он обо всем,

Широким пальмовым листом

Он вытер слезы на глазах...

«Я перед Миком в должниках:

В ту ночь, как племя гурабе

Изнемогало в злой борьбе,

Болтая с месяцем как раз,

Я не пришел к нему, не спас.

О чем бы ни мечтал ты, Мик,

Проси: все даст тебе старик».

И поднял руки Мик свои

И медленно проговорил:

«Мне видеть хочется Луи

Таким, каким он в жизни был». —

«Он умер». — «Пусть и я умру». —

«Но он в аду». — «Пойду и в ад!

Я брошусь в каждую дыру,

Когда в ней мучится мой брат». —

«Ну, если так — не спорю я!

Вдоль по течению ручья

Иди три дня, потом семь дней

Через пустыню черных змей;

Там у чугунной двери в ад,

С кошачьей мордой, но рогат,

Есть зверь, и к брату твоему

Дорога ведома ему.

Но тем, кто раз туда попал,

Помочь не в силах даже я.

Смотри ж!» Но Мик уже бежал

Вдоль по течению ручья.

IX

В отвесной каменной стене,

Страшна, огромна и черна,

Виднелась дверь из чугуна

На неприступной высоте.

Усталый, исхудалый Мик

Пред нею головой поник

И стонет: «Больше нет пути,

Не знаю я, куда идти,

Хоть сам могучий Дух Лесов —

Хранитель мой и мой покров».

Тут медленно открылась дверь,

И медленно явился зверь

С кошачьей мордой, а рогат.

И Мик потупил в страхе взгляд,

Но в дверь вступил. Они пошли

По коридору, где в пыли

Валялись тысячи костей

Рыб, птиц, животных и людей.

Как та страшна была тропа!

Там бормотали черепа,

Бычачьи двигались рога,

Ища незримого врага.

И гнулись пальцы мертвецов,

Стараясь что-нибудь поймать...

Но вот прошли широкий ров,

И легче сделалось дышать.

Там им открылся мир иной,

Равнина с лесом и горой,

Необозримая страна,

Жилище душ, которых нет.

Над ней струила слабый свет

Великолепная луна;

Не та, которую ты сам

Так часто видишь по ночам,

А мать ее, ясна, горда,

Доисторических времен,

Что умерла еще тогда,

Как мир наш не был сотворен.

Там тени пальм и сикомор

Росли по склонам черных гор,

Где тени мертвых пастухов

Пасли издохнувших коров.

Там тень охотника порой

Ждала, склоняясь над норой,

Где сонно грызли тень корней

Сообщества бобров-теней.

Но было тихо все вокруг:

Ни вздох, ни лепет струй, ни стук

Не нарушал молчанья. Зверь

Промолвил Мику: «Ну, теперь

Ищи!» А сам устало лег,

Уткнувшись мордою в песок.

За каждый куст, за каждый пенек,

Хотя тот куст и пенек – лишь тень,

В пещеру, в озеро, в родник,

Идя, заглядывает Мик.

За тенью дикого волчца

Он своего узнал отца,

Сидевшего, как в старину,

На грязной, бурой шкуре гну.

Мик, плача, руки протянул,

Но тот вздохнул и не взглянул,

Как будто только ветерок

Слегка его коснулся щек.

Как мертвецы не видны нам,

Так мы не видны мертвецам.

Но нет нигде, нигде Луи.

Мик руки заломил свои,

Как вдруг он бросился бежать

Туда, где зверь улегся спать.

«Скорей вставай! – кричит ему. —

И отвечай мне, почему

Здесь только черные живут,

А белых я не видел тут?»

Зверь поднял страшные глаза:

«Зачем ты раньше не сказал?

Все белые – как колдуны,

Все при рожденье крещены,

Чтоб после смерти их Христос

К себе на небеса вознес.

Наверх направь шаги свои

И жаворонка излови.

Он чист, ему неведом грех,

И он летает выше всех.

Вот три зерна (их странен вид,

Они росли в мозгу моем);

Когда их съест, заговорит

Он человеческим языком».

Как было радостно опять

Пустыню Мику увидеть,

Услышать ветер, и родник,

И попугаев резкий крик!

Он сделал из волос силок,  
И жаворонка подстерег,  
И выпустил его, одно  
Сначала дав ему зерно.  
Опять, влюбленный в Божий свет,  
Свободный жаворонок ввысь  
Помчался, и ему вослед  
Надежды Мика понеслись.  
Когда же птица с высоты  
Упала камнем, чуть дыша,  
«Ну что? Скажи, что видел ты?» —  
Мик теребил его, спеша.  
«Я видел красных райских птиц,  
Они прекраснее зарниц,  
В закатных тучах гнезда вьют  
И звезды мелкие клюют.  
Они клялись мне, что твой друг  
Попал в седьмой небесный круг,  
Перед которым звездный сад  
Черней, чем самый черный ад».  
Мик дал ему еще зерно,  
Целуя и прося одно,  
И взвился жаворонок вновь,  
Хоть в нем и холодела кровь.  
Он только через день упал  
И больше часа не дышал,  
Но наконец проговорил:  
«Средь отдаленнейших светил,  
За гранью Божьего огня  
Я встретил ангела, что пел  
Про человеческий удел,  
Алмазным панцирем звеня:  
«Пусть ни о чем не плачет Мик:  
Луи высоко, он в раю,  
Там Михаил Архистратиг  
Его зачислил в рать свою».  
Его целуя горячо,  
Мик попросил: «Крылатый друг,

Молю, вот съешь зерно еще  
И полети в надзвездный круг».   
И жаворонок третий раз  
Поднялся и пропал из глаз.  
Три дня ждал жаворонка Мик  
И к ожиданию привык,  
Когда свалился на песок  
Холодный пуховой комок.  
Такое видеть торжество  
Там жаворонку довелось,  
Что сердце слабое его  
От радости разорвалось.

Х  
Дуглас, охотник на слонов,  
Сердился: ужин не готов,  
Любимый мул его издох  
И новый проводник был плох.  
Он взял ружье и вышел в лес,  
На пальму высохшую влез  
И ждал. Он знал, что здесь пойдет  
На водопой лесной народ,  
А у него мечта одна —  
Убить огромного слона,  
Особенно когда клыки  
И тяжелы, и велики.  
Вот засветился Южный Крест,  
И тишина легла окрест,  
Как будто старый Дух Лесов  
Замедлил бег ночных часов.  
И вот явились: дикобраз,  
За ним уродливые гну,  
Вслед козы — и решил Дуглас:  
«Я после застрелю одну».  
Но, рыжей гривой тряся,  
Высоко голову неся,  
Примчался тяжким скоком лев,  
И все бежали, оробев,

И даже буйвол отступил,  
Сердито фыркнув, в мокрый ил.  
Царь долго пил, потом зевнул  
И вдруг вскочил и заревел;  
В лесу раздался смутный гул,  
Как будто ветер про шумел;  
И пересекся небосклон  
Коричневою полосой, —  
То, поднимая хобот, слон —  
Вожак вел стадо за собой.  
Ему согнувшийся Дуглас  
Навел винтовку между глаз;  
Так не один гигант лесной  
Сражен был пулей разрывной.  
Он был готов спустить курок,  
Когда почувствовал толчок  
И промахнулся. Это Мик  
К нему среди ветвей проник.  
«А, негодяй! – вскричал Дуглас. —  
Знай, ты раскаешься сейчас!»  
И тот ответил: «Гета, ну!  
Не надо делать зла слону:  
Идет под старость каждый слон  
Все на один и тот же склон,  
Где травы, данные слонам,  
Вкусней и родники свежей,  
И умирает мирно там  
Среди прадедовских костей.  
Коль ты согласен, я готов  
Твоим слугою быть, а мне  
Известно кладбище слонов,  
В галласской скрытой стране». —  
«Пусть Бог хранит тебя за то! —  
Вскричал Дуглас, забывши злость. —  
Идем! И в Глазго, и в Бордо  
Слоновья требуется кость». —  
Вплоть до утра работал Мик,  
Хвосты и гривы мулам стриг



И чистил новое свое  
Шестизарядное ружье.  
Прошло три месяца, и вот  
В Аддис-Абебу Мик ведет  
Из диких, неизвестных стран  
С слоновой костью караван.  
Дуглас мечтает:  
«Богачу Я все на месте продаю  
И миллионером укачу  
К себе, в Шотландию мою!»  
Сто тридцать ящиков вина,  
Сто тридцать ярдов полотна  
Подносит негусу Дуглас  
И так кончает свой рассказ:  
«Я караван мулиный свой  
Оставил Мику. Он богат.  
В Аддис-Абебе зашумят,  
Что это нагадрас большой.  
Его в верховный свой совет  
Прими и совещайся с ним.  
Он защитит тебя от бед  
Умом и мужеством своим».  
Орлиный светлый взгляд один  
На Мика бросил властелин  
И, улыбнувшись, сделал знак,  
Обозначавший: будет так.  
В Аддис-Абебе не найти  
Глупца, который бы не знал,  
Что Мик на царственном пути  
Прекрасней солнца воссиял.  
С ним, благосклонен и велик,  
Советуется Менелик,  
Он всех отважней на войне,  
Всех уважаемей в стране.  
В Аддис-Абебе нет теперь  
Несчастливого иль пришлеца,  
Пред кем бы ни открылась дверь

Большого Микова дворца.

Там вечно для радушных встреч,

Пиров до самого утра

Готовится прохладный тэдж

И золотая инджира.

И во дворце его живет,

Встречая ласку и почет,

С ним помирившийся давно

Слепой старик, Ато-Гано.

Примечания[1]

Авто-Георгис – военный министр Абиссинии, достигший этого положения из рабов.

Аддис-Абеба – главный город Абиссинии, резиденция негуса.

Анкобер – город в Абиссинии.

Ато – Гано – Гано – абиссинское имя. Ато – приставка, вроде нашего «господин» или французского «monsieur».

Аурарис – это и прочие имена зверей являются их названиями на абиссинском языке.

Гета – по-абиссински «господин».

Гурабе – маленькое негритянское племя на южной границе Абиссинии.

Дире-Дауа – город в Абиссинии.

Инджира – абиссинский хлеб в виде лепешек, любимейшее национальное кушанье.

Менелик – абиссинский негус (1844–1913).

Мохамед – Али – богатейший в Абиссинии купец, араб из Йемена.

Нагадрас – собственник каравана, почетное название богатых купцов.

Негус – титул абиссинских царей.

Ой ю гут – восклицание, выражающее удивление.

Талер – в Абиссинии в ходу только талеры Марии-Терезии.

Тэдж – абиссинское пиво, любимый национальный напиток.

Френджи – абиссинское название европейцев.

Харрар – город в Абиссинии.

Капитаны

I

На полярных морях и на южных,

По изгибам зеленых зыбей,

Меж базальтовых скал и жемчужных

Шелестят паруса кораблей.

Быстрокрылых ведут капитаны —

Открыватели новых земель,

Для кого не страшны ураганы,

Кто изведal мальстремы и мель.

Чья не пылью затерянных хартий —

Солью моря пропитана грудь,

Кто иглой на разорванной карте

Отмечает свой дерзостный путь

И, взойдя на трепещущий мостик,

Вспоминает покинутый порт,

Отряхая ударами трости

Ключья пены с высоких ботфорт,

Или, бунт на борту обнаружив,

Из-за пояса рвет пистолет,

Так что сыплется золото с кружев,

С розоватых брабантских манжет.

Пусть безумствует море и хлещет,

Гребни волн поднялись в небеса —

Ни один пред грозой не трепещет,

Ни один не свернет паруса.

Разве трусам даны эти руки,

Этот острый, уверенный взгляд,

Что умеет на вражьих фелуки

Неожиданно бросить фрегат,

Меткой пулей, острой железной

Настигать исполинских китов

И приметить в ночи многозвездной

Охранительный свет маяков?

||

Вы все, паладины Зеленого Храма,

Над пасмурным морем следившие румб,

Гонзальво и Кук, Лаперуз и де Гама,

Мечтатель и царь, генуэзец Колумб!

Ганнон Карфагенянин, князь Сенегамбий,

Синдбад-Мореход и могучий Улисс,

О ваших победах гремят в дифирамбе

Седые валы, набегая на мыс!

А вы, королевские псы, флибустьеры,

Хранившие золото в темном порту,

Скитальцы-арабы, искатели веры

И первые люди на первом плоту!

И все, кто дерзает, кто хочет, кто ищет,

Кому опостытели страны отцов,

Кто дерзко хохочет, насмешливо свищет,

Внимая заветам седых мудрецов!

Как странно, как сладко входить в ваши грезы,

Заветные ваши шептать имена

И вдруг догадаться, какие наркозы

Когда-то рождала для вас глубина!

И кажется: в мире, как прежде, есть страны,

Куда не ступала людская нога,

Где в солнечных рощах живут великаны

И светят в прозрачной воде жемчуга.

С деревьев стекают душистые смолы,

Узорные листья лепечут: «Скорей,

Здесь реют червонного золота пчелы,

Здесь розы краснее, чем пурпур царей!»

И карлики с птицами спорят за гнезда,

И нежен у девушек профиль лица...

Как будто не все пересчитаны звезды,

Как будто наш мир не открыт до конца!

### III

Только глянет сквозь утесы

Королевский старый форт,

Как веселые матросы

Поспешат в знакомый порт.

Там, хватив в таверне сидру,

Речь ведет болтливый дед,

Что сразить морскую гидру

Может черный арбалет.

Темнокожие мулатки

И гадают, и поют,

И несется запах сладкий

От готовящихся блюд.

А в заплеванных тавернах

От заката до утра

Мечут ряд колод неверных

Завитые шулера.

Хорошо по докам порта

И слоняться, и лежать,

И с солдатами из форта

Ночью драки затевать.

Иль у знатных иностранок

Дерзко выклянчить два су,

Продавать им обезьянок

С медным обручем в носу.

А потом бледнеть от злости,

Амулет зажать в полу,

Все проигрывая в кости

На затоптанном полу.

Но смолкает зов дурмана,

Пьяных слов бессвязный лет,

Только рупор капитана

Их к отплытью призовет.

### IV

Но в мире есть иные области,

Луной мучительной томимы.

Для высшей силы, высшей доблести

Они навек недостижимы.

Там волны с блесками и всплесками

Непрекращаемого танца,

И там летит скачками резкими

Корабль Летучего Голландца.

Ни риф, ни мель ему не встретятся,

Но, знак печали и несчастий,

Огни святого Эльма светятся,

Усеяв борт его и снасти.

Сам капитан, скользя над бездною,

За шляпу держится рукою.

Окровавленной, но железною

В штурвал вцепляется другою.

Как смерть, бледны его товарищи,

У всех одна и та же дума.

Так смотрят трупы на пожарище,

Невыразимо и угрюмо.

И если в час прозрачный, утренний

Пловцы в морях его встречали,

Их вечно мучил голос внутренний

Слепым предвестием печали.

Ватаге буйной и воинственной

Так много сложено историй,

Но всех страшней и всех таинственней

Для смелых пенителей моря —

О том, что где-то есть окраина

Туда, за тропик Козерога! —

Где капитана с ликом Каина

Легла ужасная дорога.

Болонья

Нет воды вкуснее, чем в Романье,

Нет прекрасней женщин, чем в Болонье,

В лунной мгле разносятся признанья,

От цветов струится благовонье.

Лишь фонарь идущего вельможи

На мгновенье выхватит из мрака

Между кружев розоватость кожи,

Длинный ус, что крутит забияка.

И его скорей проносят мимо,

А любовь глядит и торжествует.

О, как пахнут волосы любимой,

Как дрожит она, когда целует.

Но вино чем слаще, тем хмельнее,

Дама чем красивей, тем лукавей,

Вот уже уходят ротозеи

В тишине мечтать о высшей славе.

И они придут, придут до света

С мудрой думой о Юстиниане

К темной двери университета,

Векового логовища знаний.

Старый доктор сгорблен в красной тоге,

Он законов ищет в беззаконьи,

Но и он порой волочит ноги

По веселым улицам Болоньи.

Неаполь

Как эмаль, сверкает море,

И багряные закаты

На готическом соборе,

Словно гарпии, крылаты;

Но какой античной грязью

Полон город, и не вдруг

К золотому безобразью

Нас приучит буйный юг.

Пахнет рыбой, и лимоном,

И духами парижанки,

Что под зонтиком зеленым

И несет креветок в банке;

А за кучею навоза

Два косматых старика

Режут хлеб... Сальватор Роза

Нх провидел сквозь века.

Здесь не жарко, с моря веют

Белобрысы туманы,

Все хотят и все не смеют

Выйти в полночь на поляны,  
Где седые, грозовые  
Скалы высятся венцом,  
Где засела малярия  
С желтым бешеным лицом.  
И, как птица с трубкой в клюве,  
Поднимает острый гребень,  
Сладко нежится Везувий,  
Расплескавшись в сонном небе.  
Бьются облачные кони,  
Поднимаясь на зенит,  
Но, как истый лаццарони,  
Все дымит он и храпит.  
Генуя  
В Генуе, в палаццо дождей  
Есть старинные картины,  
На которых странно схожи  
С лебедями бригантины.  
Возле них, сойдясь гурьбою,  
Моряки и арматоры  
Все ведут между собою  
Вековые разговоры.  
С блеском глаз, с усмешкой важной,  
Как живые, неживые...  
От залива ветер влажный  
Спутал бороды седые.  
Миг один, и будет чудо;  
Вот один из них, смелея,  
Спросит: «Вы, синьор, откуда,  
Из Ливорно иль Пирея?  
Если будете в Брабанте,  
Там мой брат торгует летом,  
Отвезите бочку кьянти  
От меня ему с приветом».  
Путешествие в Китай

С. Судейкину

Воздух над нами чист и звонок,



В житницу вол отвез зерно,  
Отданный повару, пал ягненок,  
В медных ковшах играет вино.  
Что же тоска нам сердце гложет,  
Что мы пытаем бытие?  
Лучшая девушка дать не может  
Больше того, что есть у нее.  
Все мы знавали злое горе,  
Бросили все заветный рай,  
Все мы, товарищи, верим в море,  
Можем отплыть в далекий Китай.  
Только не думать! Будет счастье  
В самом крикливом кабаду,  
Душу исполнит нам жгучей страстью  
Смуглый ребенок в чайном саду.  
В розовой пене встретим даль мы,  
Нас испугает медный лев.  
Что нам пригрезится в ночь у пальмы,  
Как опьянят нас соки дерев?  
Праздником будут те недели,  
Что проведем на корабле...  
Ты ли не опытен в пьяном деле,  
Вечно румяный, мэтр Рабле?  
Грузный, как бочки вин токайских,  
Мудрость свою прикрой плащом,  
Ты будешь пугалом дев китайских,  
Бедра обвив зеленым плющом.  
Будь капитаном! Просим! Просим!  
Вместо весла вручаем жердь...  
Только в Китае мы якорь бросим,  
Хоть на пути и встретим смерть!  
Снова в море  
Я сегодня опять услышал,  
Как тяжелый якорь ползет,  
И я видел, как в море вышел  
Пятипалубный пароход,  
Оттого-то и солнце дышит,

А земля говорит, поет.

Неужель хоть одна есть крыса

В грязной кухне иль червь в норе,

Хоть один беззубый и лысый

И помешанный на добре,

Что не слышат песен Улисса,

Призывающего к игре?

Ах, к игре с трезубцем Нептуна,

С косами диких nereid

В час, когда буруны, как струны,

Звонко лопаются и дрожит

Пена в них или груди юной,

Самой нежной из Афродит.

Вот и я выхожу из дома

Повстречаться с иной судьбой,

Целый мир, чужой и знакомый,

Породниться готов со мной:

Берегов изгибы, изломы,

И вода, и ветер морской.

Солнце духа, ах, беззакатно,

Не земле его побороть,

Никогда не вернусь обратно,

Усмирю усталую плоть,

Если Лето благоприятно,

Если любит меня Господь.

Отъезжающему

Нет, я не в том тебе завидую

С такой мучительной обидою,

Что уезжаешь ты и вскоре

На Средиземном будешь море.

И Рим увидишь, и Сицилию —

Места, любезные Вергилию,

В благоухающей лимонной

Трущбе сложишь стих влюбленный.

Я это сам не раз испытывал,

Я солью моря грудь пропитывал,

Над Арно, Данта чтя обычай,

Слагал сонеты Беатриче.

Что до природы мне, до древности,

Когда я полон жгучей ревности,

Ведь ты во всем ее убранстве

Увидел Музу Дальних Странствий.

Ведь для тебя в руках изменницы

В хрустальном кубке нектар пенится,

И огнедышащей беседы.

Ты знаешь молнии и бреды.

А я, как некими гигантами,

Торжественными фолиантами

От вольной жизни заперт в нишу,

Ее не вижу и не слышу.

Приглашение в путешествие

Уедем, бросим край докучный

И каменные города,

Где Вам и холодно, и скучно,

И даже страшно иногда.

Нежней цветы и звезды ярче

В стране, где светит Южный Крест,

В стране богатой, словно ларчик

Для очарованных невест.

Мы дом построим выше ели,

Мы камнем выложим углы

И красным деревом панели,

А палисандровым полы.

И средь разбросанных тропинок

В огромном розовом саду

Мерцанье будет пестрых спинок

Жуков, похожих на звезду.

Уедем! Разве Вам не надо

В тот час, как солнце поднялось,

Услышать страшные баллады,

Рассказы абиссинских роз:

О древних сказочных царицах,

О львах в короне из цветов,

О черных ангелах, о птицах,

Что гнезда вьют средь облаков.

Найдем мы старого араба,  
Читающего нараспев  
Стих про Рустема и Зораба  
Или про занзибарских дев.  
Когда же нам наскучат сказки,  
Двенадцать стройных негритят  
Закружатся пред нами в пляске  
И отдохнуть не захотят.  
И будут приезжать к нам в гости,  
Когда весной пойдут дожди,  
В уборах из слоновой кости  
Великолепные вожди.  
В горах, где весело, где ветры  
Кричат, рубить я стану лес,  
Смолою пахнущие кедры,  
Платан, встающий до небес.  
Я буду изменять движенье  
Рек, льющихся по крутизне,  
Указывая им служенье,  
Угодное отныне мне.  
А Вы, Вы будете с цветами,  
И я Вам подарю газель  
С такими нежными глазами,  
Что кажется, поет свирель;  
Иль птицу райскую, что краше  
И огненных зарниц, и роз,  
Порхать над темно-русой Вашей  
Чудесной шапочкой волос.  
Когда же Смерть, грустя немного,  
Скользя по роковой меже,  
Войдет и станет у порога,  
Мы скажем Смерти: «Как, уже?»  
И, не тоскуя, не мечтая,  
Пойдем в высокий Божий рай,  
С улыбкой ясной узнавая  
Повсюду нам знакомый край.

# 1918

Лесной пожар  
Ветер гонит тучу дыма,  
Словно грузного коня.  
Вслед за ним неумолимо  
Встало зарево огня.  
Только в редкие просветы  
Темно-бурых тополей  
Видно розовые светы  
Обезумевших полей.  
Ярко вспыхивает маис,  
С острым запахом смолы,  
И шипя и разгораясь,  
В пламя падают стволы.  
Резкий грохот, тяжкий топот,  
Вой, мычанье, визг и рев,  
И зловеще-тихий ропот  
Закипающих ручьев.  
Вон несется слон-пустынник,  
Лев стремительно бежит,  
Обезьяна держит финик  
И пронзительно визжит.  
С ведрем стиснутый бок о бок,  
Легкий волк, душа ловитв,  
Зубы белы, взор не робок —  
Только время не для битв.  
А за ними в дымных пущах  
Льется новая волна  
Опаленных и ревущих...  
Как назвать их имена?  
Словно там, под сводом ада,  
Дьявол щелкает бичом,  
Чтобы грешников громада  
Вышла бешеным смерчом.  
Все страшней в ночи бессонной,  
Все быстрее дикий бег,  
И, огнями ослепленный,

Черной кровью обгаренный,

Первым гибнет человек.

Гиппопотам

Гиппопотам с огромным брюхом

Живет в яванских тростниках,

Где в каждой яме стонут глухо

Чудовища, как в страшных снах.

Свистит боа, скользя над кручей,

Тигр угрожающе рычит,

И буйвол фыркает могучий,

А он пасется или спит.

Ни стрел, ни острых ассагаев

Он не боится ничего,

И пули меткие сипаев

Скользят по панцирю его.

И я в родне гиппопотама:

Одет в броню моих святынь,

Иду торжественно и прямо

Без страха посреди пустынь.

Слово – это Бог

Слово

В оный день, когда над миром новым

Бог склонял лицо Свое, тогда

Солнце останавливали словом,

Словом разрушали города.

И орел не взмахивал крылами,

Звезды жались в ужасе к луне,

Если, точно розовое пламя,

Слово проплывало в вышине.

А для низкой жизни были числа,

Как домашний, подъяремный скот,

Потому что все оттенки смысла

Умное число передает.

Патриарх седой, себе под руку

Покоривший и добро и зло,

Не решаясь обратиться к звуку,

Тростью на песке чертил число.

Но забыли мы, что осиянно

Только слово средь земных тревог

И в Евангелии от Иоанна

Сказано, что Слово – это Бог.

Мы ему поставили пределом

Скудные пределы естества,

И, как пчелы в улье опустелом,

Дурно пахнут мертвые слова.

«Поэт ленив, хоть лебединый...»

Поэт ленив, хоть лебединый

В его душе не меркнет день,

Алмазы, яхонты, рубины

Стихов ему рассыпать лень.

Его закон – неутомимо,

Как скряга, в памяти собирать

Улыбки женщины любимой,

Зеленый взор и неба гладь.

Дремать Танкредом у Армиды,

Ахиллом возле кораблей,

Лелея детские обиды

На неосмысленных людей.

Так будьте же благословенны,

Слова жестокие любви,

Рождающие огонь мгновенный,

В текущей нектаром крови!

Он встал. Пегас вознесся быстрый,

По ветру грива, и летит,

И сыплются стихи, как искры

Из-под сверкающих копыт.

# 1920

Творчество

Моим рожденные словом,

Гиганты пили вино

Всю ночь, и было багровым,

И было страшным оно.

О, если б кровь мою пили,

Я меньше бы изнемог,

И пальцы зари бродили

По мне, когда я прилег.

Проснулся, когда был вечер,

Вставал туман от болот,

Тревожный и теплый ветер

Дышал из южных ворот.

И стало мне вдруг так больно,

Так жалко мне стало дня,

Своею дорогой вольной

Прошедшего без меня...

Умчаться б вдогонку свету!

Но я не в силах порвать

Мою зловещую эту

Ночных видений тетрадь.

Душа и тело

!

Над городом плышет ночная тишь,

И каждый шорох делается глуше,

А ты, душа, ты все-таки молчишь,

Помилуй, Боже, мраморные души.

И отвечала мне душа моя,

Как будто арфы дальние пропели:

«Зачем открыла я для бытия

Глаза в презренном человеческом теле?

Безумная, я бросила мой дом,

К иному устремясь великолепью,

И шар земной мне сделался ядром,

К какому каторжник прикован цепью.

Ах, я возненавидела любовь,



Болезнь, которой все у вас подвластно,  
Которая туманит вновь и вновь  
Мир мне чужой, но стройный и прекрасный.  
И если что еще меня роднит  
С былым, мерцающим в планетном хоре,  
То это горе, мой надежный щит,  
Холодное презрительное горе».

II

Закат из золотого стал как медь,  
Покрылись облака зеленой ржою,  
И телу я сказал тогда: «Ответь  
Навсё, провозглашенное душою».  
И тело мне ответило мое,  
Простое тело, но с горячей кровью:  
«Не знаю я, что значит бытие,  
Хотя и знаю, что зовут любовью.  
Люблю в соленой плескаться волне,  
Прислушиваться к крикам ястребиным,  
Люблю на необъезженном коне  
Нестись по лугу, пахнущему тмином.  
И женщину люблю... когда глаза  
Ее потупленные я целую,  
Я пьяно, будто близится гроза,  
Иль будто пью я воду ключевую.  
Но я за все, что взяло и хочу,  
За все печали, радости и бредни,  
Как подобает мужу, заплачу  
Непоправимой гибелью последней».

III

Когда же слово Бога с высоты  
Большой Медведицею заблестело,  
С вопросом: «Кто же, вопрошатель, ты?» —  
Душа предстала предо мной и телю.  
На них я взоры медленно вознес  
И милостиво дерзостным ответил:  
«Скажите мне, ужель разумен пес,  
Который воет, если месяц светел?  
Ужели вам допрашивать меня,

Меня, кому единое мгновение

Весь срок от первого земного дня

До огненного светопреставленья?

Меня, кто, словно древо Игдразиль,

Пророс главою семью семь вселенных

И для очей которого как пыль

Поля земные и поля блаженных?

Я тот, кто спит, и кроет глубину

Его невыразимое прозвание;

А вы, вы только слабый отсвет сна,

Бегущего на дне его сознания!»

Естество

Я не печалюсь, что с природы

Покров, ее скрывавший, снят,

Что древний лес, седые воды

Не кроют фавнов и наяд.

Не человеческою речью

Гудят пустынные ветра

И не усталость человечью

Нам возвещают вечера.

Нет, в этих медленных, инертных

Преображеньях естества —

Залог бессмертия для смертных,

Первоначальные слова.

Поэт, лишь ты единый в силе

Постичь ужасный тот язык,

Которым сфинксы говорили

В кругу драконовых владык.

Стань ныне вещью, Богом бывши,

И слово вещи возгласи,

Чтоб шар земной, тебя родивший,

Вдруг дрогнул на своей оси.

<1919>

Шестое чувство

Прекрасно в нас влюбленное вино,

И добрый хлеб, что в печь для нас садится,

И женщина, которою дано,

Сперва измучившись, нам насладиться.

Но что нам делать с розовой зарей

Над холодеющими небесами,

Где тишина и неземной покой,

Что делать нам с бессмертными стихами?

Ни съесть, ни выпить, ни поцеловать.

Мгновение бежит неудержимо,

И мы ломаем руки, но опять

Осуждены идти все мимо, мимо.

Как мальчик, игры позабыв свои,

Следит порой за девичьим купаньем

И, ничего не зная о любви,

Все ж мучится таинственным желаньем.

Как некогда в разросшихся хвощах

Ревела от сознания бессилья

Тварь скользкая, почуя на плечах

Еще не появившиеся крылья, —

Так век за веком – скоро ли, Господь? —

Под скальпелем природы и искусства

Кричит наш дух, изнемогает плоть,

Рождая орган для шестого чувства.

Поэту

Пусть будет стих твой гибок, но упруг,

Как тополь зеленеющей долины,

Как грудь земли, куда вонзили плуг,

Как девушка, не знавшая мужчины.

Уверенную строгость береги:

Твой стих не должен ни порхать, ни биться.

Хотя у музы легкие шаги,

Она богиня, а не танцовщица.

У перебойных рифм веселый гам,

Соблазн уклонов легкий и свободный

Оставь, оставь накрашенным шутам,

Танцующим на площади народной.

И, выйдя на священные тропы,

Певучести пошли свои проклятья.

Пойми: она любовница толпы,

Как милостыни, ждет она объятья.



# 1908

Мои читатели

Старый бродяга в Аддис-Абебе,

Покоривший многие племена,

Прислал ко мне черного копьеносца

С приветом, составленным из моих стихов.

Лейтенант, водивший канонерки

Под огнем неприятельских батарей,

Целую ночь над южным морем

Читал мне на память мои стихи.

Человек, среди толпы народа

Застреливший императорского посла,

Подошел пожать мне руку,

Поблагодарить за мои стихи.

Много их, сильных, злых и веселых,

Убивавших слонов и людей,

Умиравших от жажды в пустыне,

Замерзавших на кромке вечного льда,

Верных нашей планете,

Сильной, веселой и злой,

Возят мои книги в седельной сумке,

Читают их в пальмовой роще,

Забывают на тонущем корабле.

Я не оскорбляю их неврастенией,

Не унижаю душевной теплотой,

Не надоедаю многозначительными намеками

На содержимое выеденного яйца.

Но когда вокруг свищут пули,

Когда волны ломают борта,

Я учу их, как не бояться,

Не бояться и делать что надо.

И когда женщина с прекрасным лицом,

Единственно дорогим во вселенной,

Скажет: «Я не люблю вас», —

Я учу их, как улыбнуться,

И уйти, и не возвращаться больше.

А когда придет их последний час,

Ровный красный туман застелет взоры,

Я научу их сразу припомнить

Всю жестокую, милую жизнь,

Всю родную, странную землю

И, представ перед ликом Бога

С простыми и мудрыми словами,

Ждать спокойно Его суда.

«В этот мой благословенный вечер...»

В этот мой благословенный вечер

Собрались ко мне мои друзья,

Все, которых я очеловечил,

Выведя их из небытия.

Гондла разговаривал с Гафизом

О любви Гафиза и своей,

И над ним склонялись по карнизам

Головы волков и лебедей.

Муза Дальних Странствий обнимала

Зою, как сестру свою теперь,

И лизал им ноги небывалый

Золотой и шестикрылый зверь.

Мик с Луи подсели к капитанам,

Чтоб послушать о морских делах,

И перед любезным Дон Жуаном

Фанни сладкий чувствовала страх.

А по стенам начинались танцы,

Двигались фигуры на холстах,

Обезумели камбоджянцы

На конях и боевых слонах.

Заливались вышитые птицы,

А дракон плясал уже без сил,

Даже Будда начал шевелиться

И понюхать розу попросил.

И светились звезды золотые,

Приглашенные на торжество,

Словно апельсины восковые,

Те, что подают на Рождество.

«Тише, крики, смолкните, напевы! —

Я вскричал. И будем все грустны,

Потому что с нами нету девы,  
Для которой все мы рождены».  
И пошли мы, пара вслед за парой,  
Словно фантастический эстамп,  
Через переулки и бульвары  
К тупику близ улицы Деками.  
Неужели мы Вам не приснились,  
Милая с таким печальным ртом,  
Мы, которые всю ночь толпились  
Перед занавешенным окном?  
<1917>  
Заблудившийся трамвай  
Шел по улице я незнакомой  
И вдруг услышал вороний грай,  
И звоны лютни, и дальние громы, —  
Передо мною летел трамвай.  
Как я вскочил на его подножку,  
Было загадкою для меня,  
В воздухе огненную дорожку  
Он оставлял и при свете дня.  
Мчался он бурей темной, крылатой,  
Он заблудился в бездне времен...  
Остановите, вагоновожатый,  
Остановите сейчас вагон.  
Поздно. Уж мы обогнули стену,  
Мы проскочили сквозь рощу пальм,  
Через Неву, через Нил и Сену  
Мы прогремели по трем мостам.  
И, промелькнув у оконной рамы,  
Бросил нам вслед пытливый взгляд  
Нищий старик, — конечно, тот самый,  
Что умер в Бейруте год назад.  
Где я? Так томно и так тревожно  
Сердце мое стучит в ответ:  
Видишь вокзал, на котором можно  
В Индию Духа купить билет.  
Вывеска... кровью налитые буквы

Гласят – зеленная, – знаю, тут

Вместо капусты и вместо брюквы

Мертвые головы продают.

В красной рубашке, с лицом как вымя,

Голову срезал палач и мне,

Она лежала вместе с другими

Здесь, в ящике скользком, на самом дне.

А в переулке забор дощатый,

Дом в три окна и серый газон...

Остановите, вагоновожатый,

Остановите сейчас вагон.

Машенька, ты здесь жила и пела,

Мне, жениху, ковер ткала,

Где же теперь твой голос и тело,

Может ли быть, что ты умерла!

Как ты стонала в своей светлице,

Я же с напудренною косой

Шел представляться Императрице

И не увиделся вновь с тобой.

Понял теперь я: наша свобода —

Только оттуда бьющийся свет,

Люди и тени стоят у входа

В зоологический сад планет.

И сразу ветер знакомый и сладкий,

И за мостом летит на меня

Всадника длань в железной перчатке

И два копыта его коня.

Верной твердынею православья

Врезан Исакий в вышине,

Там отслужу молебен о здравьи

Машеньки и панихиду по мне.

И все ж навеки сердце угрюмо,

И трудно дышать, и больно жить...

Машенька, я никогда не думал,

Что можно так любить и грустить.

Портрет мужчины (Картина в Лувре работы неизвестного) Его глаза – подземные озера,

Покинутые царские чертоги.

Отмечен знаком высшего позора,



Он никогда не говорит о Боге.

Его уста – пурпуровая рана

От лезвия, пропитанного ядом;

Печальные, сомкнувшиеся рано,

Они зовут к непознанным уладам.

И руки – бледный мрамор полнолуний.

В них ужасы неснятого проклятья.

Они ласкали девушек-колдуний

И ведали кровавые распятыя.

Ему в веках достался странный жребий —

Служить мечтой убийцы и поэта,

Быть может, как родился он, – на небе

Кровавая растаяла комета.

В его душе столетние обиды,

В его душе печали без названья.

На все сады Мадонны и Киприды

Не променяет он воспоминанья.

Он злобен, но не злобой святотатца,

И нежен цвет его атласной кожи.

Он может улыбаться и смеяться,

Но плакать... плакать больше он не может.

Волшебная скрипка

Валерию Брюсову

Милый мальчик, ты так весел, так светла твоя улыбка, Не проси об этом счастье, отравляющем миры,

Ты не знаешь, ты не знаешь, что такое эта скрипка, Что такое темный ужас начинателя игры!

Тот, кто взял ее однажды в повелительные руки,

У того исчез навеки безмятежный свет очей,

Духи ада любят слушать эти царственные звуки,

Бродят бешеные волки по дороге скрипачей.

Надо вечно петь и плакать этим струнам, звонким струнам, Вечно должен биться, виться обезумевший смычок,

И под солнцем, и под вьюгой, под белеющим буруном, И когда пылает запад, и когда горит восток.

Ты устанешь и замедлишь, и на миг прервется пенье, И уж ты не сможешь крикнуть, шевельнуться и вздохнуть, —Тотчас бешеные волки в кроважадном исступленьи

В горло вцепятся зубами, станут лапами на грудь.

Ты поймешь тогда, как злобно насмеялось все, что пело, В очи глянет запоздалый, но властительный испуг,

И тоскливый смертный холод обовьет, как тканью, тело, И невеста зарыдает, и задумается друг.

Мальчик, дальше! Здесь не встретишь ни веселья, ни сокровищ!

Но я вижу ты смеешься, эти взоры – два луча.

На, владей волшебной скрипкой, посмотри в глаза чудовищ

И погибни славной смертью, страшной смертью скрипача!

Фра Беато Анджелико

В стране, где гиппогриф веселый льва

Крылатого зовет играть в лазури,

Где выпускает ночь из рукава

Хрустальных нимф и венценосных фурий;

В стране, где тихи гробы мертвецов,

Но где жива их воля, власть и сила,

Средь многих знаменитых мастеров,

Ах, одного лишь сердце полюбило.

Пускай велик небесный Рафаэль,

Любимец бога скал, Буонарротти,

Да Винчи, колдовской вкусивший хмель,

Челлини, давший бронзе тайну плоти.

Но Рафаэль не греет, а сплит,

В Буонарротти страшно совершенство,

И хмель да Винчи душу замутит,

Ту душу, что поверила в блаженство.

На Фьезоле, средь тонких тополей,

Когда горят в траве зеленой маки,

И в глубине готических церквей,

Где мученики спят в прохладной раке.

На все, что сделал мастер мой, печать

Любви земной и простоты смиренной.

О да, не все умел он рисовать,

Но то, что рисовал он, – совершенно.

Вот скалы, рощи, рыцарь на коне,

Куда он едет, в церковь иль к невесте?

Горит заря на городской стене,

Идут стада по улицам предместий;

Мария держит Сына Своего,

Кудрявого, с румянцем благородным,

Такие дети в ночь под Рождество,

Наверно, снятся женщинам бесплодным;

И так нестрашен связанным святым

Палач, в рубашку синюю одетый,

Им хорошо под нимбом золотым,  
И здесь есть свет, и там иные светы.  
А краски, краски – яркие и чисты,  
Они родились с ним и с ним погасли.  
Преданье есть: он растворял цветы  
В епископами освященном масле.  
И есть еще преданье: серафим  
Слетал к нему, смеющийся и ясный,  
И кисти брал, и состязался с ним  
В его искусстве дивном... но напрасно.  
Есть Бог, есть мир, они живут вовек,  
А жизнь людей мгновенна и убога,  
Но все в себе вмещает человек,  
Который любит мир и верит в Бога.

Андрей Рублев

Я твердо, я так сладко знаю,  
С искусством иноков знаком,  
Что лик жены подобен раю,  
Обетованному Творцом.  
Нос – это древа ствол высокий;  
Две тонкие дуги бровей  
Над ним раскинулись, широки,  
Изгибом пальмовых ветвей.  
Два вещих сирина, два глаза,  
Под ними сладостно поют,  
Велеречивостью рассказа  
Все тайны духа выдают.  
Открытый лоб – как свод небесный,  
И кудри – облака над ним;  
Их, верно, с робостью прелестной  
Касался нежный серафим.  
И тут же, у подножья древа,  
Уста – как некий райский цвет,  
Из-за какого мать Ева  
Благой нарушила завет.  
Все это кистью достохвальной  
Андрей Рублев мне начертал,

И этой жизни труд печальный

Благословеньем Божиим стал.

Искусство

Созданье тем прекрасней,

Чем взятый материал

Бесстрастней —

Стих, мрамор иль металл.

О светлая подруга,

Стеснения гони,

Но туго

Котурны затяни.

Прочь легкие приемы,

Башмак по всем ногам,

Знакомый

И нищим, и богам.

Скульптор, не мни покорной

И вялой глины ком,

Упорно

Мечтая о другом.

С паросским иль каррарским

Борись обломком ты,

Как с царским

Жилищем красоты.

Прекрасная темница!

Сквозь бронзу Сиракуз

Глядится

Надменный облик муз.

Рукою нежной брата

Очерчивай уклон

Агата —

И выйдет Аполлон.

Художник! Акварели

Тебе не будет жаль!

В купели

Расплавь свою эмаль.

Твори сирен зеленых

С усмешкой на губах,

Склоненных

Чудовищ на гербах.  
В трехъярусном сиянье  
Мадонну Христа,  
Пыланье  
Латинского креста.  
Все прах. – Одно, ликуя,  
Искусство не умрет.  
Статуя  
Переживет народ.  
И на простой медали,  
Открытой средь камней,  
Видали  
Неведомых царей.  
И сами боги тленны,  
Но стих не кончит петь,  
Надменный,  
Властительней, чем медь.  
Чеканить, гнуть, бороться —  
И зыбкий сон мечты  
Вольется  
В бессмертные черты.  
«У меня не живут цветы...»  
У меня не живут цветы,  
Красотой их на миг я обманут,  
Постоят день-другой и завянут,  
У меня не живут цветы.  
Да и птицы здесь не живут,  
Только хохлятся скорбно и глухо,  
А наутро – комочек из пуха...  
Даже птицы здесь не живут.  
Только книги в восемь рядов,  
Молчаливые, грузные томы,  
Сторожат вековые истомы,  
Словно зубы в восемь рядов.  
Мне продавший их букинист,  
Помню, был и горбатым, и нищим...  
...Торговал за проклятым кладбищем

Мне продавший их букинист.

Читатель книг

Читатель книг, и я хотел найти

Мой тихий рай в покорности сознания,

Я их любил, те странные пути,

Где нет надежд и нет воспоминанья.

Неутомимо плыть ручьями строк,

В проливы глав вступать нетерпеливо

И наблюдать, как пенится поток,

И слушать гул идущего прилива!

Но вечером... О, как она страшна,

Ночная тень за шкафом, за киотом,

И маятник, недвижимый, как луна,

Что светит над мерцающим болотом!

Золотое сердце России

Детство

Я ребенком любил большие,

Медом пахнувшие луга,

Перелески, травы сухие

И меж трав бычачьи рога.

Каждый пыльный куст придорожный

Мне кричал: «Я шучу с тобой,

Обойди меня осторожно

И узнаешь, кто я такой!»

Только дикий ветер осенний,

Прошумев, прекращал игру, —

Сердце билось еще блаженней,

И я верил, что я умру

Не один – с моими друзьями,

С мать-и-мачехой, с лопухом,

И за дальними небесами

Догадаюсь вдруг обо всем.

Я за то и люблю затей

Грозовых военных забав,

Что людская кровь не святее

Изумрудного сока трав.

Память

Только змеи сбрасывают кожи,

Чтоб душа старела и росла.

Мы, увы, со змеями не схожи,

Мы меняем души, не тела.

Память, ты рукою великанши

Жизнь ведешь, как под уздцы коня,

Ты расскажешь мне о тех, что раньше

В этом теле жили до меня.

Самый первый: некрасив и тонок,

Полюбивший только сумрак рощ

Лист опавший, колдовской ребенок,

Словом останавливавший дождь.

Дерево да рыжая собака,

Вот кого он взял себе в друзья,

Память, Память, ты не сыщешь знака,

Не уверишь мир, что то был я.

И второй... любил он ветер с юга,

В каждом шуме слышал звоны лир,

Говорил, что жизнь – его подруга,

Коврик под его ногами – мир.

Он совсем не нравится мне, это

Он хотел стать богом и царем,

Он повесил вывеску поэта

Над дверьми в мой молчаливый дом.

Я люблю избранника свободы,

Мореплавателя и стрелка,

Ах, ему так звонко пели воды

И завидовали облака.

Высока была его палатка,

Мулы были резвы и сильны,

Как вино, впивал он воздух сладкий

Белому неведомой страны.

Память, ты слабее год от году,

Тот ли это или кто другой

Променял веселую свободу

На священный долгожданный бой.

Знал он муки голода и жажды,

Сон тревожный, бесконечный путь,

Но святой Георгий тронул дважды

Пулею не тронутую грудь.

Я – угрюмый и упрямый зодчий

Храма, восстающего во мгле,

Я возревновал о славе Отчей,

Как на небесах, и на земле.

Сердце будет пламенем палимо

Вплоть до дня, когда взойдут, ясны,

Стены Нового Иерусалима

На полях моей родной страны.

И тогда повеет ветер странный

И прольется с неба страшный свет,

Это Млечный Путь расцвел нежданно

Садом ослепительных планет.

Предо мной предстанет, мне неведом,

Путник, скрыв лицо; но все пойму,

Видя льва, стремящегося следом,

И орла, летящего к нему.

Крикну я... но разве кто поможет,

Чтоб моя душа не умерла?

Только змеи сбрасывают кожи,

Мы меняем души, не тела.

Городок

Над широкою рекой,

Пояском-мостом перетянутой,

Городок стоит небольшой,

Летописцем не раз помянутый.

Знаю, в этом городке —

Человечья жизнь настоящая,

Словно лодочка на реке,

К цели ведомой уходящая.

Полосатые столбы

У гауптвахты, где солдатики

Под пронзительный вой трубы

Маршируют, совсем лунатики.

На базаре всякий люд,

Мужики, цыгане, прохожие —

Покупают и продают,



Проповедуют Слово Божие.

В крепко слаженных домах

Ждут хозяйки белые, скромные,

В самаркандских цветных платках,

А глаза все такие темные.

Губернаторский дворец

Пышет светом в часы вечерние,

Предводителей жеребец —

Удивление всей губернии.

А весной идут, таясь,

На кладбище девушки с милыми,

Шепчут, ластясь: «Мой яхонт-князь!» —

И целуются над могилами.

Крест над церковью взнесен,

Символ власти ясной, Отческой,

И гудит малиновый звон

Речью мудрою, человеческой.

Ледоход

Уж одевались острова

Весенней зеленью прозрачной,

Но нет, изменчива Нева,

Ей так легко стать снова мрачной.

Взойди на мост, склони свой взгляд:

Там льдины прыгают по льдинам,

Зеленые, как медный яд,

С ужасным шелестом змеиным.

Географу, в час трудных снов,

Такие тяготят сознание —

Неведомых материков

Мучительные очертанья.

Так пахнут сыростью гриба,

И неуверенно и слабо,

Те потайные погреба,

Где труп зарыт и бродят жабы.

Река больна, река в бреде.

Одни, уверены в победе,

В зоологическом саду

Довольны белые медведи.  
И знают, что один обман  
Их тягостное заточенье:  
Сам Ледовитый Океан  
Идет на их освобожденье.  
Старые усадьбы  
Дома косые, двухэтажные,  
И тут же рига, скотный двор,  
Где у корыта гуси важные  
Ведут немолчный разговор.  
В садах настурции и розаны,  
В прудах зацветших караси, —  
Усадьбы старые разбросаны  
По всей таинственной Руси.  
Порою в полдень льется по лесу  
Неясный гул, невнятный крик,  
И угадать нельзя по голосу,  
То человек иль лесовик.  
Порою крестный ход и пение,  
Звонят во все колокола,  
Бегут, — то значит, по течению  
В село икона приплыла.  
Русь бредит Богом, красным пламенем,  
Где видно ангелов сквозь дым...  
Они ж покорно верят знаменьям,  
Любя свое, живя своим.  
Вот, гордый новою поддевкой,  
Идет в гостиную сосед.  
Поникнув русою головкою,  
С ним дочка — восемнадцать лет.  
«Моя Наташа бесприданница,  
Но не отдам за бедняка».  
И ясный взор ее туманится,  
Дрожа, сжимается рука.  
«Отец не хочет... нам со свадьбою  
Опять придется погодить».  
Да что! В пруду перед усадьбою  
Русалкам бледным плохо ль жить?

В часы весеннего томления

И пляски белых облаков

Бывают головокружения

У девушек и стариков.

Но старикам золотоглавые,

Святые, белые скиты,

А девушкам – одни лукавые

Увещеванья пустоты.

О Русь, волшебница суровая,

Повсюду ты свое возьмешь.

Бежать? Но разве любишь новое

Иль без тебя да проживешь?

И не расстаться с амулетами,

Фортуна катит колесо,

На полке, рядом с пистолетами,

Баон Боамбеус и Рvcco.

Николай Гумилев

«Из Записок кавалериста»

Мне, вольноопределяющемуся – охотнику одного из кавалерийских полков, работа нашей кавалерии представляется как ряд отдельных вполне законченных задач, за которыми следует отдых, полный самых фантастических мечтаний о будущем. Если пехотинцы – поденщики войны, выносящие на своих плечах всю ее тяжесть, то кавалеристы – это веселая странствующая артель, с песнями в несколько дней кончающая прежде длительную и трудную работу. Нет ни зависти, ни соревнования. «Вы – наши отцы, – говорит кавалерист пехотинцу, – за вами как за каменной стеной». <...>

Неприятельский аэроплан, как ястреб над спрятавшейся в траве перепелкою, постоял над нашим разъездом и стал медленно спускаться к югу. Я увидел в бинокль его черный крест.

Этот день навсегда останется священным в моей памяти. Я был дозорным и первый раз на войне почувствовал, как напрягается воля, прямо до физического ощущения какого-то окаменения, когда надо одному въезжать в лес, где, может быть, залегла неприятельская цепь, скакать по полю, вспаханному и поэтому исключаящему возможность быстрого отступления, к движущейся колонне, чтобы узнать не обстреляет ли она тебя. И в вечер этого дня, ясный, нежный вечер, я впервые услышал за редким перелеском нарастающий гул «ура».

<...> Теперь я понял, почему кавалеристы так мечтают об атаках. Налететь на людей, которые, спрятавшись в кустах и окопах, безопасно расстреливают издали видных всадников, заставить их бледнеть от все учащающегося топота копыт, от сверкания обнаженных шашек и грозного вида наклоненных пик, своей стремительностью легко опрокинуть, точно сдунуть, втрое сильнеего противника, это единственное оправдание всей жизни кавалериста.<...>

Самое тяжелое для кавалериста на войне, это – ожидание. Он знает, что ему ничего не стоит зайти во фланг движущемуся противнику, даже оказаться у него в тылу, и что никто его не окружит, не отрежет путей к отступлению, что всегда окажется спасительная тропинка, по которой целая кавалерийская дивизия легким галопом уедет из-под самого носа одуроченного врага.

Н. Гумилев

Война

М. М. Чичагову

Как собака на цепи тяжелой,  
Тявкает за лесом пулемет,  
И жужжат шрапнели, словно пчелы,  
Собирая ярко-красный мед.  
А «ура» вдали, как будто пенье  
Трудный день окончивших жнецов.  
Скажешь: это – мирное селенье  
В самый благостный из вечеров.  
И воистину светло и свято  
Дело величавое войны,  
Серафимы, ясны и крылаты,  
За плечами воинов видны.  
Тружеников, медленно идущих  
На полях, омоченных в крови,  
Подвиг сеющих и славу жнущих,  
Ныне, Господи, благослови.  
Как у тех, что гнутся над сохою,  
Как у тех, что молят и скорбят,  
Их сердца горят перед Тобою,  
Восковыми свечками горят.  
Но тому, о Господи, и силы  
И победы царский час даруй,  
Кто поверженному скажет: – Милый,  
Вот, прими мой братский поцелуй!

Наступление

Та страна, что могла быть раем,  
Стала логовищем огня,  
Мы четвертый день наступаем,  
Мы не ели четыре дня.  
Но не надо яства земного  
В этот страшный и светлый час,  
Оттого, что Господне слово  
Лучше хлеба питает нас.

И залитые кровью недели  
Ослепительны и легки,  
Надо мною рвутся щрапнели,  
Птиц быстрее взлетают клинки.  
Я кричу, и мой голос дикий,  
Это медь ударяет в медь,  
Я, носитель мысли великой,  
Не могу, не могу умереть.  
Словно молоты громовые  
Или воды гневных морей,  
Золотое сердце России  
Мерно бьется в груди моей.  
И так сладко рядить Победу,  
Словно девушку, в жемчуга,  
Проходя по дымному следу  
Отступающего врага.

«Из писем Н. Гумилева А. Ахматовой...»

[Около 10 октября 1914 г., Россиены]

Дорогая моя Аничка, я уже в настоящей армии, но мы пока не сражаемся, и когда начнем, неизвестно. Все-то приходится ждать, теперь, однако, уже с винтовкой в руках и с опущенной шашкой. И я начинаю чувствовать, что я подходящий муж для женщины, которая «собирала французские пули, как мы собирали грибы и чернику». Эта цитата заставляет меня напомнить тебе о твоём обещании быстро дописать твою поэму и прислать ее мне. Право, я по ней скучаю. Я написал стишок, посылаю его тебе, хочешь – продай, хочешь – читай кому-нибудь. Я здесь утерял критические способности и не знаю, хорош он или плох.

Пиши мне в 1-ю действ, армию, в мой полк, эскадрон Ея Величества. Письма, оказывается, доходят очень и очень аккуратно.

[6 июля 1915 г., Заболотце]

Дорогая моя Аничка, наконец-то и от тебя письмо, но, очевидно, второе (с солугубовским), первого пока нет. А я уже послал тебе несколько упреков, прости меня за них. Я тебе писал, что мы на новом фронте. Мы были в резерве, но дня четыре тому назад перед нами потеснили армейскую дивизию и мы пошли поправлять дело. Вчера с этим покончили, кое-где выбили неприятеля и теперь опять отошли валяться на сене и есть вишни. С австрийцами много легче воевать, чем с немцами. Они отвратительно стреляют. Вчера мы хохотали от души, видя, как они обстреливали наш аэроплан. Снаряды рвались по крайней мере верст за пять до него. Сейчас война приятная, огорчают только пыль во время переходов и дожди, когда лежишь в цепи. Но то и другое бывает редко. Здоровье мое отлично.

Из писем Н. Гумилева А. Ахматовой

Сестре милосердия

Нет, не думайте, дорогая,

О сплетеньи мышц и костей,

О святой работе, о долге...

Это сказки для детей.

Под попреки санитаров

И томительный бой часов

Сам собой поправится воин,

Если дух его здоров.

И вы верьте в здоровье духа,

В молньеносный его полет,

Он от Вильны до самой Вены

Неуклонно нас доведет.

О подругах в серьгах и кольцах,

Обольстительных вдвойне

От духов и притираний,

Вспоминаем мы на войне.

И мечтаем мы о подругах,

Что проходят сквозь нашу тьму

С пляской, музыкой и пеньем

Золотой дорогой муз.

Говорили об англичанке,

Песней славшей мужчин на бой

И поцеловавшей воина

Перед восторженной толпой.

Эта девушка с открытой сцены,

Нарумянена, одета в шелк,

Лучше всех сестер милосердия

Поняла свой юный долг.

И мечтаю я, чтоб сказали

О России, стране равнин:

– Вот страна прекраснейших женщин

И отважнейших мужчин.

<1914>

Ответ сестры милосердия

...Омочу бибриан рукав в Каяле реце, утро князю кровавые его раны на жес. тоцем теле.

Плач Ярославны

Я не верю, не верю, милый,

В то, что вы обещали мне.

Это значит – вы не видали

До сих пор меня во сне.

И не знаете, что от боли

Потемнели мои глаза.

Не понять вам на бранном поле,

Как бывает горька слеза.

Нас рождали для муки крестной,

Как для светлого счастья вас,

Каждый день, что для вас воскресный, —

То день страдания для нас.

Солнечное утро битвы,

Зов трубы военной – вам,

Но покинутые могилы

Навещать годами нам.

Так позвольте теми руками,

Что любили вы целовать,

Перевязывать ваши раны,

Воспаленный лоб освежать.

То же делает и ветер,

То же делает и вода,

И не скажет им: «Не надо» —

Одинокий раненый тогда.

А когда с победой славной

Вы вернетесь из чуждых сторон,

То бебрян рукав Ярославны

Будет реять среди знамен.

<1914>

«Из записок кавалериста...»

<...> Теперь я хочу рассказать о самом знаменательном дне моей жизни, о бое шестого июля 1915 г. Это случилось уже на другом, совсем новом для нас фронте. До того были у нас и перестрелки, и разъезды, но память о них тускнеет по сравнению с тем днем.

Накануне зарядил затяжной дождь. Каждый раз, как нам надо было выходить из домов, он усиливался. Так усилился он и тогда, когда поздно вечером нас повели сменять сидевшую в окопах армейскую кавалерию.

<...> Мы шли болотом и ругали за это проводника, но он был не виноват, наш путь действительно лежал через болото. Наконец, пройдя версты три, мы уткнулись в бугор, из которого, к нашему удивлению, начали вылезать люди. Это и были те кавалеристы, которых мы пришли сменить.

Мы их спросили, каково им было сидеть. Озлобленные дождем, они молчали, и только один проворчал себе под нос: «А вот сами увидите, стреляет немец, должно быть, утром в атаку пойдет». «Типун тебе на язык, – подумали мы, – в такую погоду да еще атака!»

Собственно говоря, окопа не было. По фронту тянулся острый хребет невысокого холма, и в нем был пробит ряд ячеек на одного-двух человек с бойницами для стрельбы. Мы забрались в эти ячейки, дали несколько залпов в сторону неприятеля и, установив наблюденье, улеглись подремать до рассвета. Чуть стало светать, нас разбудили: неприятель делает перебежку и окапывается, открыть частый огонь.

Я взглянул в бойницу. Было серо, и дождь лил по-прежнему. Шагах в двух-трех <?> передо мной копошился австриец, словно крот, на глазах уходящий в землю. Я выстрелил. Он присел в уже выкопанную ямку и взмахнул лопатой, чтобы показать, что я промахнулся. Через минуту он высунулся, я выстрелил снова и увидел новый взмах лопаты. Но после третьего выстрела уже ни он, ни его лопата больше не показались.

Другие австрийцы тем временем уже успели закопаться и ожесточенно обстреливали нас. Я переполз в ячейку, где сидел наш корнет. Мы стали обсуждать создавшееся положение. Нас было полтора эскадрона, то есть человек восемьдесят, австрийцев раз в пять больше. Неизвестно, могли бы мы удержаться в случае атаки. <...>

Так мы болтали, тщетно пытаясь закурить подмоченные папиросы, когда наше внимание привлек какой-то странный звук, от которого вздрагивал наш холм, словно гигантским молотом ударяли прямо по земле. Я начал выглядывать в бойницу не слишком свободно, потому что в нее то и дело влетали пули, и наконец заметил на половине расстояния между нами и австрийцами разрывы тяжелых снарядов. «Ура! – крикнул я, – это наша артиллерия кроет по их окопам».

В тот же миг к нам просунулось нахмуренное лицо ротмистра. «Ничего подобного, сказал он, это их недолеты, они палят по нам. Сейчас бросятся в атаку. Нас обошли с левого фланга. Отходить к коням!»

Корнет и я, как от толчка пружины, вылетели из окопа. В нашем распоряжении была минута или две, а надо было предупредить об отходе всех людей и послать в соседний эскадрон. Я побежал вдоль окопов, крича: «К коням... живо! Нас обходят!» Люди выскакивали, расстегнутые, ошеломленные, таща под мышкой лопаты и шашки, которые они было сбросили в окопе. Когда все вышли, я выглянул в бойницу и до нелепости близко увидел перед собой озабоченную физиономию усатого австрийца, а за ним еще других. Я выстрелил не целясь и со всех ног бросился догонять моих товарищей.

Н. Гумилев

Пятистопные ямбы

М. Л. Лозинскому

Я помню ночь, как черную наяду,  
В морях под знаком Южного Креста.  
Я плыл на юг; могучих волн громаду  
Взрывали мощно лопасти винта,  
И встречные суда, очей отраду,  
Брала почти мгновенно темнота.  
О, как я их жалел, как было странно  
Мне думать, что они идут назад  
И не остались в бухте необманной,  
Что дон Жуан не встретил донны Анны,  
Что гор алмазных не нашел Синдбад  
И Вечный Жид несчастней во сто крат.



Но проходили месяцы, обратно  
Я плыл и увозил клыки слонов,  
Картины абиссинских мастеров,  
Меха пантер – мне нравились их пятна —  
И то, что прежде было непонятно, —  
Презрение к миру и усталость снов.  
Я молод был, был жаден и уверен,  
Но дух земли молчал, высокомерен,  
И умерли слепящие мечты,  
Как умирают птицы и цветы.  
Теперь мой голос медлен и размерен,  
Я знаю, жизнь не удалась... и ты,  
Ты, для кого искал я на Леванте  
Нетленный пурпур королевских мантий, —  
Я проиграл тебя, как Дамаянти  
Когда-то проиграл безумный Наль.  
Взлетели кости, звонкие, как сталь,  
Упали кости – и была печаль.  
Сказала ты, задумчивая, строго:  
«Я верила, любила слишком много,  
А ухожу, не веря, не любя,  
И пред лицом Всевидящего Бога,  
Быть может, самое себя губя,  
Навек я отрекаюсь от тебя».  
Твоих волос не смел поцеловать я,  
Ни даже сжать холодных, тонких рук.  
Я сам себе был гадок, как паук,  
Меня пугал и мучил каждый звук,  
И ты ушла в простом и темном платье,  
Похожая на древнее Распятье.  
То лето было грозами полно,  
Жарой и духотою небывалой,  
Такой, что сразу делалось темно  
И сердце биться вдруг переставало,  
В полях колосья сыпали зерно,  
И солнце даже в полдень было ало.  
И в реве человеческой толпы,

В гуденье проезжающих орудий,  
В немолчном зове боевой трубы  
Я вдруг услышал песнь моей судьбы  
И побежал, куда бежали люди,  
Покорно повторяя: буди, буди.  
Солдаты громко пели, и слова  
Невнятны были, сердце их ловило:  
«Скорей вперед! Могила так могила!  
Нам ложем будет свежая трава,  
А пологом – зеленая листва,  
Союзником – архангельская сила».  
Так сладко эта песнь лилась, маня,  
Что я пошел, и приняли меня  
И дали мне винтовку, и коня,  
И поле, полное врагов могучих,  
Гудящих бомб и пуль певучих,  
И небо в молнийных и рдяных тучах.  
И счастьем душа обожжена  
С тех самых пор; веселием полна,  
И ясностью, и мудростью, о Боге  
Со звездами беседует она,  
Глас Бога слышит в воинской тревоге  
И Божьими зовет свои дороги.  
Честнейшую честнейших херувим,  
Славнейшую славнейших серафим,  
Земных надежд небесное Свершенье  
Она величит каждое мгновенье  
И чувствует к простым словам своим  
Вниманье, милость и благоволенье.  
Есть на море пустынном монастырь  
Из камня белого, золотоглавый,  
Он озарен немеркнувшею славой.  
Туда б уйти, покинув мир лукавый,  
Смотреть на ширь воды и неба ширь...  
В тот золотой и белый монастырь!

1912–1915

Смерть

Есть так много жизней достойных,

Но одна лишь достойна смерть,  
Лишь под пулями в рвах спокойных  
Верить в знамя Господне, твердь.  
И за это знаешь так ясно,  
Что в единственный, строгий час,  
В час, когда, словно облак красный,  
Милый день уплывет из глаз, —  
Свод небесный будет раздвинут  
Пред душою, и душу ту  
Белоснежные кони ринут  
В ослепительную высоту.  
Там Начальник в ярком доспехе,  
В грозном шлеме звездных лучей  
И к старинной бранной потехе  
Огнекрылых зов трубачей.  
Но и здесь на земле не хуже  
Та же смерть – ясна и проста:  
Здесь товарищ над павшим тужит  
И целует его в уста.  
Здесь священник в рясе дырявой  
Умиленно поет псалом,  
Здесь играют марш величавый  
Над едва заметным холмом.  
Ольга  
Эльга, Эльга! – звучало над полями,  
Где ломали друг другу крестцы  
С голубыми, свирепыми глазами  
И жилистыми руками молодцы.  
Ольга, Ольга! – вопили древляне  
С волосами желтыми, как мед,  
Выцарапывая в раскаленной бане  
Окровавленными ногтями ход.  
И за дальними морями чужими  
Не уставала звенеть,  
То же звонкое вызванивая имя,  
Варяжская сталь в византийскую медь.  
Все забыл я, что помнил ране,

Христианские имена,

И твое лишь имя, Ольга, для моей гортани

Слаще самого старого вина.

Год за годом все неизбежней

Запевают в крови века,

Опьянен я тяжестью прежней

Скандинавского костяка.

Древних ратей воин отсталый,

К этой жизни затая вражду,

Сумасшедших сводов Валгаллы,

Славных битв и пиров я жду.

Вижу череп с брагой хмельною,

Бычьи розовые хребты,

И валькирией надо мною,

Ольга, Ольга, кружишь ты.

Швеция

Страна живительной прохлады

Лесов и гор гудящих, где

Всклокоченные водопады

Ревут, как будто быть беде;

Для нас священная навеки

Страна, ты помнишь ли, скажи,

Тот день, как из Варягов в Греки

Пошли суровые мужи?

Ответь, ужели так и надо,

Чтоб был, свидетель злых обид,

У золотых ворот Царьграда

Забыт Олегов медный щит?

Чтобы в томительные бреды

Опять поникла, как вчера,

Для славы, силы и победы

Тобой подъятая сестра?

И неужель твой ветер свежий

Вотще нам в уши сладко выл,

К Руси славянской, печенежьей

Вотще твой Рюрик приходил?

На северном море

О да, мы из расы

Завоевателей древних,  
Взносивших над Северным морем  
Широкий крашенный парус  
И прыгавших с длинных стругов  
На плоский берег нормандский —  
В пределы старинных княжеств  
Пожары вносить и смерть.  
Уже не одно столетье  
Вот так мы бродим по миру,  
Мы бродим и трубим в трубы,  
Мы бродим и бьем в барабаны:  
– Не нужны ли крепкие руки,  
Не нужно ли твердое сердце  
И красная кровь не нужна ли  
Республике иль королю? —  
Эй, мальчик, неси нам  
Вина скорее,  
Малаги, портвейну,  
А главное – виски!  
Ну, что там такое:  
Подводная лодка,  
Плавучая мина?  
На это есть моряки!  
О да, мы из расы  
Завоевателей древних,  
Которым вечно скитаться,  
Срывать с высоких башен,  
Тонуть в седых океанах  
И буйной кровью своею  
Поить ненасытных пьяниц —  
Железо, сталь и свинец.  
Но все-таки песни слагают  
Поэты на разных наречьях,  
И западных, и восточных,  
Но все-таки молят монахи  
В Мадриде и на Афоне,  
Как свечи горя перед Богом,

Но все-таки женщины грезят

О нас, и только о нас.

Франция

Франция, на лик твой просветленный

Я еще, еще раз обернусь

И как в омут погружусь бездонный

В дикую мою, родную Русь.

Ты была ей дивною мечтою,

Солнцем столько несравненных лет,

Но назвать тебя своей сестрою,

Вижу, вижу, было ей не след.

Только небо в заревых багрянцах

Отразило пролитую кровь,

Как во всех твоих республиканцах

Пробудилось рыцарское вновь.

Вышли кто за что: один – что в море

Флаг трехцветный вольно пробегал,

А другой – за дом на косогоре,

Где еще ребенком он играл;

Тот – чтоб милой в память их разлуки

Принести «Почетный легион»,

Этот – так себе, почти от скуки,

И среди них отважнейшим был он!

Мы собирались там, поклоны клали,

Ангелы нам пели с высоты,

А бежали – женщин обижали,

Пропивали ружья и кресты.

Ты прости нам, смрадным и незрячим,

До конца униженным прости!

Мы лежим на гноище и плачем,

Не желая Божьего пути.

В каждом, словно саблей исполина,

Надвое душа рассечена.

В каждом дьявольская половина

Радуетя, что она сильна.

Вот ты кличешь: «Где сестра Россия,

Где она, любимая всегда?»

Посмотри вверх: в созвездьи Змия

Загорелась новая звезда.

<1918>

Стокгольм

Зачем он мне снился, смятенный, нестройный,

Рожденный из глубины не наших времен,

Тот сон о Стокгольме, такой беспокойный,

Такой уж почти и не радостный сон...

Быть может, был праздник, не знаю наверно,

Но только все колокол, колокол звал;

Как мощный орган, потрясенный безмерно,

Весь город молился, гудел, грохотал.

Стоял на горе я, как будто народу

О чем-то хотел проповедовать я,

И видел прозрачную тихую воду,

Окрестные рощи, леса и поля.

«О Боже, – вскричал я в тревоге, – что, если

Страна эта истинно родина мне?

Не здесь ли любил я и умер, не здесь ли,

В зеленой и солнечной этой стране?»

И понял, что я заблудился навеки

В слепых переходах пространств и времен,

А где-то струятся родимые реки,

К которым мне путь навсегда запрещен.

Мужик

В чащах, в болотах огромных,

У оловянной реки,

В срубках мохнатых и темных

Странные есть мужики.

Выйдет такой в бездорожье,

Где разбежался ковыль,

Слушает крики Стрибожьи,

Чую старинную быль.

С остановившимся взглядом

Здесь проходил печенег...

Сыростью пахнет и гадом

Возле мелеющих рек.

Вот уже он и с котомкой,

Путь оглашая лесной  
Песней протяжной, негромкой,  
Но озорной, озорной.  
Путь этот – светы и мраки,  
Посвист разбойный в полях,  
Ссоры, кровавые драки  
В страшных, как сны, кабаках.  
В гордую нашу столицу  
Входит он – Боже, спаси! —  
Обворожает царицу  
Необозримой Руси  
Взглядом, улыбкою детской,  
Речью такой озорной,  
И на груди молодецкой  
Крест просиял золотой.  
Как не погнулись о горе!  
Как не покинули мест  
Крест на Казанском соборе  
И на Исакии крест?  
Над потрясенной столицей  
Выстрелы, крики, набат,  
Город ощерился львицей,  
Обороняющей львят.  
«Что ж, православные, жгите  
Труп мой на темном мосту,  
Пепел по ветру пустите...  
Кто защитит сироту?  
В диком краю и убогом  
Много таких мужиков.  
Слышен по вашим дорогам  
Радостный гул их шагов».

#### Примечания

1 Примечания Н. С. Гумилева.